

Надя Крупн

Книга первая

Приношу мою глубокую благодарность и мои извинения тому, кто когда-то дарил мне свои фотоработы, которые опубликованы в этой книге безымянными.

Это всего лишь две, но вполне самостоятельные главы из книги воспоминаний. В первой из них – рассказ о последних шести месяцах жизни барда Арика Круппа, во второй – двухлетнее противостояние минского подпольного клуба авторской песни белорусскому КГБ.

*Посвящаю дочери, которой
досталось меньше всего моей любви.*

ПЛАТА ЗА ВДОХ

Воспоминание первое

А Р И К

*Хочется, хочется петь,
Хочется, хочется жить!*

...

Хочется жить – невозможно иначе
Арик Крупп

Когда тебе тридцать пять, не ждёшь подарков от судьбы.

Почти любимая работа. Двенадцатилетняя дочка, с которой ты спишь на одной кровати с панцирной сеткой, в общежитии, где в десятиметровой комнате ещё две девочки... Четырнадцатилетний сын, которого видишь очень редко, потому что он живёт со своим отцом тоже в столичном городе, но совсем в другой братской республике... Всё это в самой большой и самой могучей стране, занимающей шестую часть земной суши.

В Минск я приехала год назад из Свердловска, туда – из Хабаровска, а в Хабаровск – из родного города Фрунзе. Родного – не по рождению, а потому, что там прошла вся моя сознательная жизнь – с десяти до тридцати лет. Во Фрунзе оставила первоклассницу–дочку со стареющей мамой и сына с бывшим мужем, в его новой семье. Дочку потом смогла забрать только в Свердловск – там у меня была девятиметровая комнатка с окошком у самого тротуара в бревенчатом домике, временно отданном киностудии под общежитие для молодых специалистов.

В тридцать пять лет не ждёшь подарков от судьбы. Я и не ждала, но, попав в Минск, жила в предчувствии какого-то перелома в жизни. На студии «Белорусьфильм» делала заказные фильмы, надеялась, что утвердят хоть одну из моих заявок и я начну заниматься тем, чем хочу – документальным кино. Записалась в жилищный кооператив на трёхкомнатную, потому что меньших уже не было. Когда коллеги меня спрашивали, откуда деньги возьму, только посмеивалась: «Замуж скоро выйду. Пусть муж и думает». Шутила. На самом деле – отправила письма во все концы друзьям, а друзья у меня остались в каждом городе, где я побывала за свою тогда ещё недолгую жизнь. Делала это легко – знала, что помогут. Хотя мои друзья – люди,

жившие от зарплаты до зарплаты и никогда не имевшие сберкнижек. Но именно такие и помогают.

Первый взнос за квартиру – три с половиной тысячи. У меня была только одна, полученная за сценарий одночастёвки, – мой первый крупный заработок в Минске. Да мама, узнав про кооператив, выслала мне семьсот рублей, которые заработала вязаньем и скопила «на чёрный день». Оставшиеся тысячу восемьсот мне предстояло одолжить, и я рассчитывала их вернуть в течение двух лет.

Была у меня потаённая мечта: получу квартиру – позову в гости сына – может, захочет остаться... Не знала я, что дом наш будет строиться четыре с половиной года и, когда его наконец сдадут, мой сын Вадим уже станет студентом Томского университета.

На «Белорусьфильм» меня пригласил худрук документального объединения «Летопись» Борис Константинович Сарахатунов, с которым я когда-то работала в Хабаровске. Он запускался с большим юбилейным документальным фильмом о Великой Отечественной войне, и ему для отбора военной хроники нужен был ассистент, на кого он мог бы безраздельно положиться. На киностудии в Минске он был новым человеком, никого не знал и потому пригласил меня. А мне было уже тридцать четыре, и я стояла перед дилеммой: получить самостоятельную работу или уйти из кино.

– Только один фильм ассистентом – и я дам вам самостоятельную работу.

Один полнометражный фильм – это ещё год жизни. Но выбора у меня не было. Так я оказалась в Минске. А в Свердловске остались три близких мне человека: Ниночка, Галка и Валентина Николаевна.

С художником из мультцеха Валентиной Николаевной Преображенской мне приходилось работать вместе над мультипликацией: хрупкая, на пятом десятке женщина,

редкостной восприимчивости, открытая и доброжелательная. Иногда она вдруг появлялась в монтажной ночью с бутылками фруктового сока и предлагала нам, обалдевающим от сумасшедшей работы, в которой охота пуще неволи, глотнуть прохладного освежающего питья.

– Ну как тут можно соответствовать! – воскликнул, когда это произошло в первый раз, режиссёр Илюша Горелик, для которого «соответствовать» было первым жизненным правилом, а уж когда дело касалось женщины, он должен был непременно «опережать», за что прослыл среди друзей дамским угодником.

Человек одинокий, Валентина Николаевна, Валя, так привязалась ко мне и так привязала меня, что я уехала с твёрдым намерением забрать её в Минск.

Галя, выпускница операторского факультета ВГИКа, попала в Свердловск по распределению, жила вместе со мной в бревенчатом домике рядом со студией. Мужская профессия, крепкая фигура, нежное, с детски-пухлыми губами лицо, никогда не знавшее косметики и прочих женских ухищрений, и открытая всем ветрам, очень ранимая душа, которую нужно было беречь от подонков. Беречь было некому, и, когда я уезжала из Свердловска, она переживала не лучшие дни. Оставлять её одну – было нож острый, и я дала себе слово, что и её заберу при первой же возможности. Возможность представилась только через год: какому-то «летописному» режиссёру в фаворе понадобился хороший оператор. Порекомендовала Галю. Она прислала свои фильмы, посмотрели – и сделали вызов.

Нужно сказать, что поначалу мне в Минске на студии всё удавалось, будто помогал незримый ангел. На первом же своём фильме я столкнулась с тем, что в мультиплексе не было ни одного режиссёра по мультипликации. Пришлось все по кадровые расчёты делать самой. После этого я

поговорила с директором объединения. На мою удачу дорабатывал до пенсии последний приличный на этом посту человек, Иван Александрович Пастухов. И мне удалось убедить его пригласить на студию профессионального режиссёра-мультипликатора, Валентину Николаевну Преображенскую из Свердловска.

Валя отнеслась к этому как к аванюре – у неё не было никакой режиссёрской тарификации. Мне же казалось, что в Свердловске её намеренно не тарифицировали и не давали самостоятельной работы, чтобы она вынуждена была работать на других: её талантом и трудоспособностью пользовались бездельники. Это тоже была одна из причин, почему я хотела забрать Валю в Минск.

Она приехала. Я не сомневалась, что у неё всё получится. Она чувствовала в мультипликации главное – движение, его траекторию и ритм. Всему остальному можно научить. Первая её работа была, конечно, в моём фильме. Я сделала скрупулёзную режиссёрскую разработку и показала, как делать расчёты. Больше моя помощь ей никогда не понадобилась, и работать с ней было одно удовольствие.

Третья – Ниночка. Ленинградский институт киноинженеров, химфак, распределение, Свердловская киностудия, лаборатория. Высокая, стройная, обаятельная, радостная, светлая и тёплая... Очень своя. В отличие от нас с Галей, чувствовала себя в Свердловске, как в городе своей судьбы. Там и осталась. Хотя у неё-то причин уехать именно в Минск было больше, чем у всех нас, вместе взятых: у неё в Минске был названный брат – Арик Крупп. Ниночка часто рассказывала нам смешные истории из ленинградской студенческой жизни, и героем многих рассказов был Арик. «Ты разыщи его обязательно, – велела она мне, – я записку ему напишу». Но записку не

написала – была в командировке, когда случился мой отъезд.

В Минске я вспомнила о названном брате Ниночки, спросила о нём у девчонок в общежитии и услышала в ответ: «Да, есть, но это такая знаменитость...» Понятно, что после этого у меня не было ни малейшей охоты его разыскивать: это казалось таким же неприличным, как гоняться за автографом какой-нибудь кинозвезды. И я забыла о нём.

Через год приехала Галя. Места для неё в общежитии, которая представляла обычную двухкомнатную «хрущёвку», не было, она переночевала на полу возле нашей с Динкой кровати и на следующий день уехала в экспедицию. Через неделю вернулась на один день, сдала материал в проявку – и снова уехала. Через несколько дней всё повторилось. Она просто физически не могла связаться с Круппом, чтобы передать ему письмо, которое привезла от Ниночки. В нём Нина просила своего названного брата помочь её подруге с жильём и пропиской. Созвониться с Ариком было невозможно: он жил на четвёртом этаже заводского общежития, да и появлялся там очень поздно, и то не всегда – так объяснил нам по телефону вахтёр. Гале ничего не оставалось, как попросить меня о помощи. В ближайшее воскресенье я разыскала общежитие Круппа и оставила в его комнате на столе записку с просьбой позвонить. Он позвонил на следующий день в точно назначенное время. Я объяснила ситуацию: сказала, что Гали нет и неизвестно, когда будет, но письмо Нины у меня. Договорились, что «Арон Яковлевич» придёт завтра.

Он пришёл и поразил меня полным несоответствием всего своего облика с образом, созданным рассказами Ниночки в Свердловске. Я протянула ему письмо и, извинившись, вышла на минутку на кухню – там обедала пришедшая из школы дочка. Когда вернулась, увидела у

Арика в руках журнал «Сибирские огни», который подарил мне с автографом перед подборкой своих стихов мой сахалинский друг Гена Прашкевич. Именно их Арик и читал. Потом он расспрашивал, как живёт Нина... Разговор не клеился, он чувствовал себя неловко, я изо всех сил пыталась увидеть в нём Ниночкиного Арьку – и ничего не получалось. Но тут он обмолвился, что каждую пятницу, на выходные, уходит с друзьями в походы – в лес.

– А детей у вас в походы берут?

– Конечно! Даже грудных!

В этот момент в комнату вошла Динка – красивая, в голубых шортах, с азиатским загаром на длинных ногах и расширенными от любопытства глазами. Арик не мог и не пытался скрыть удивления. И вдруг заторопился уходить. Договорились, что позвоню ему, когда приедет Галя. И уже прощаясь, вдруг неожиданно для себя самой я попросила взять нас – Динку, меня и Галю – в поход.

Попросила – и на следующий же день забыла об этом. А в четверг Арик позвонил и предупредил, что в пятницу мы едем на слёт в Вязанку. Я растерялась: на выходные, как всегда, куча дел – бытовуха, да и мне, с доставшейся по несчастью от рождения инерционностью, не очень хотелось... Я попыталась отбояриться:

– Боюсь, что не получится... Ведь Динка в субботу учится, к тому же у неё контрольная... Ну что ж, видимо, в следующий раз – я отпрошу её в школе на субботу.

– Нет–нет, всё нормально: мы уезжаем в пятницу, а вы приезжаете в субботу четырёхчасовой электричкой в Вязанку. На станции мы вас встречаем.

Я делаю последнюю, совсем слабую попытку:

– Ну что вы! Мне бы не хотелось вас затруднять...

– Мы часто встречаем наших ребят, иногда даже за пятнадцать километров. А тут совсем рядом.

Мне стало стыдно: столько заботы... Тогда я подумала, что это потому, что мы друзья Нины. Позже поняла, что так Арик относился ко всем.

Суббота. Гали ещё нет. Мы с Динкой ходим с электрички в Вязанке. Первое, что я вижу, спрыгнув на землю, – вверху, на насыпи, на фоне елового леса в каких-то драных лесных шмотках стоит Арик Крупп и машет нам рукой. И улыбается.

Это был Ниночкин Арька. Это был он, и всё сразу встало на свои места. А мне стало так радостно и так легко, как будто десяток лет остался там, в вагоне, и умчался с электричкой в сторону Молодечно. Рядом с Ариком были ещё двое ребят в штормовках, они забрали наши рюкзаки, и мы нырнули в лес. Тропа петляла под низкими лапами елей и прыгала через ручей, взбегала на песчаный пригорок и спускалась к златовласым берёзам.

Наши три палатки были разбиты на высоком холме, а внизу – ярким шёлковым узором красиво раскинулся большой лагерь. Мы подошли к костру. Всё, что произошло с этой минуты и до самого возвращения в город, врезалось в мою память, как прекрасный фильм, кадр за кадром, и осталось в ней навсегда.

Как только ребята сбросили рюкзаки, Арик, Слава Пирог и Гриша Халин взяли гитары и «сделали» «Пять морщин» Бориса Полоскина. Совершенно новая для меня песня!

Порой доверчивость кляня,
я не стыжусь своих морщин.
Шрам на роже, шрам на роже
для мужчин – всего дороже!
Шрам на лице среди морщин –
украшеньё для мужчин!

И это была первая песня, которую я услышала от Круппа, – столь точное попадание, что даже ЭВМ не смогла бы высчитать точнее. Это была увертюра к той жизни, в которую я попала, спрыгнув с электрички, и к тому, что поднималось внутри меня.

Потом я зашивала дырку на крупповских трениках, на коленке, а он всё удивлялся – зачем, ведь она не мешает!

Потом был вечер. Ужин и большой костёр. Крупп пел. Девчонки и ребята пришли снизу, из лагеря. У нашего костра собрались человек сорок. Арик пел без передышки. Это был нескончаемый водопад. Он пел знакомые и не знакомые мне песни. Он пел Кима и Городницкого, Анчарова и Окуджаву, Визбора и Вихорева, Кукина и Полоскина... Иногда кто-нибудь спрашивал: «Арик, ещё не время?» Арик мотал головой и продолжал петь. Наконец, часа в три ночи он взглянул на свой «будильник», который носил, как и положено левше, на правой руке, и сказал: «Время!» Все встрепенулись, а Арик ударил по струнам и лихо выдал «Футбол» Галича. А иногда кто-нибудь говорил: «Арик, можно суэмбли?» Впервые эта непонятная мне просьба прозвучала из уст закадычного долговязого приятеля Круппа, Пети Микульского. Арик кивнул.

В небе крик журавлей – это песня осенняя,
над печалью полей, над осенними тенями.
Я слежу чуть дыша за полётом на юг,
птичьи клинья спешат от метелей и вьюг.

И плывёт чуть простуженный,
птичий горестный крик
над морями, над сушею
на чужой материк...

Я догадалась, что это его собственная песня. А «суэмбли» – просто туристский выпендрёж.

Слушала, не пропуская ни единого звука, вся была в том, что он пел...

Ещё нам не поздно исправить ошибки,
и есть ещё время, чтоб новые сделать.
Не стоит дары принимать за наживку,
и стоит петь песни, пока не отпелось.

Мы можем пока уживаться с вещами,
считая невзгоды моделью удачи.
И гадкий утёнок – всегда обещанье
и первый намёк на решение задачи.

Слушала и неотрывно смотрела в костёр. Мне было грустно. Грустно оттого, что не было для меня ни путей, ни дорог к человеку, который пел и который стал для меня теперь всем.

...Лес тихо замер у сонной воды,
слушает сказки вечерней звезды.
И в полнолуние тени резки,
заморозки, заморозки...

Грустно. Наверное, гуси правы,
Что-то по осени сам я раскис.
Видно, коснулись моей головы
заморозки,
заморозки,

заморозки...

Вокруг костра сидели девочки – молодые, красивые – он пел для них, и все они были влюблены в него. Мне было очень грустно. Вдруг среди знакомых песен неожиданно прозвучало:

слушать пенье?	Слушай, ты умеешь жадно
жадно встречи ждать?	Жадно взгляд ловить и
уменье!	Если не умеешь, обрети
он может дать?	Тот, кто взять не может, что

Тогда я не знала, что это был тот же Борис Полоскин. Это было адресовано мне. Я невольно взглянула на Круппа. Но он на меня не смотрел. А я уже не могла оторвать от него глаз. Арик пел до пяти утра.

Проснулась я от непривычных звуков. Откинула брезент палатки и поняла, что это треск сухих сучьев в разгорающемся костре. Петька вешал над языками огня закопчённое ведро с водой. Рядом в одних сиреневых плавках дурачился Арик, прыгая по мягкой росной траве. Раздался тревожный голос кукушки... Начинался обычный туристский день, но для меня он был полон особого смысла, он запомнился мне в мельчайших деталях. И всё мне казалось прекрасным: как Валерий Жарихин подбрасывал сучья в костёр и раздувал пламя, как Галя Кузнецова расчёсывала свои роскошные огненные волосы, как Слава Пирог перебирал струны гитары, как Гриша Халин и Динка бегали друг за другом вокруг костра, как... как... как... – всё было восхитительно! Как зубоскалили во время завтрака, как мыли в ручье посуду, как собирали

сушняк на дрова, варили похлёбку – всё это было для меня в первый раз! Как складывали палатки, как закапывали консервные банки, как старательно тушили костёр и скидывали на плечи рюкзаки. Как ехали без билетов в электричке, как весело пели в вагоне, как в Минске на привокзальной площади все руки легли на протянутую Петькину ладонь, и грянуло громкое скандирование: «До – сви – да – ни – я!» И все рассыпались.

С понедельника я жила ожиданием пятницы – совершенно новая жизнь была там, в лесу, и вся неделя стала лишь подготовкой к ней. Вернулась из экспедиции Галка (так нежно мы с Ниночкой звали её – как птицу), приехала из Свердловска Валя, и в пятницу мы все вместе уже были на туристском слёте Академии наук – в Багутах. Снова наши палатки стояли отдельно, поодаль от общего лагеря, и снова вечером к нашему костру потянулась молодёжь. Арик взял гитару, и я услышала уже знакомое:

слушать пенье?	Слушай, ты умеешь жадно
встречи ждать?	Жадно взгляд ловить и жадно
уменье!	Если не умеешь, обрети
он может дать?	Тот, кто взять не может, что

Арик прервался и сказал:

– Я всегда начинаю с этой песни Бориса Полоскина, потому что считаю её программной.

Позже я убедилась: где бы Арик ни пел, на сцене или у костра, он всегда начинал с этих строк и говорил, что это его кредо.

Кроме туристов к нашему костру подходили какие-то комсомольские деятели и всё пытались «правильно» –

организованно – провести мерпопрятие. Они хотели в час ночи всех заставить спать. Но Крупп им всё испортил: он снова пел до утра.

В середине следующей недели у нас в общежитии раздаётся телефонный звонок. Кто-то кричит: «Надя, пшено на проводе!» – так девчонки прозвали Круппа, по ассоциации с крупой. Я уже приготовилась записывать раскладку по продуктам на очередную пятницу, но голос Арика в трубке произнёс: «Девчонки, я хочу вытащить вас в субботу... Тут у одного моего приятеля день рождения. Пойдёте?»

– Конечно!

Вешаю трубку и вдруг совершенно неожиданно для себя вешаюсь Галке на шею:

– Крупп приглашает нас на день рождения!

– Ну и что?

Галка обалдело смотрит на меня, а я кружу её по всей большой комнате.

– Ты с ума сошла!

– Да! Да! Да! Крупп приглашает нас на день рождения!

В субботу он заходит за нами, потом мы заходим в гастроном за «сухарём» и попадаем в роскошную, по меркам советского времени, квартиру журналистки Тамары Реутович. У её мужа, Ильи Овсищера, – день рождения. Арика встречают с восторгом, на нас с Галкой хоть и улыбаются, но смотрят диковато, как на какое-то географическое чудо. Конечно, Арик – душа компании, Арик – всеобщий любимец, а тут – такая нагрузочка: приехали две какие-то из Свердловска...

Шикарный стол, тосты, как водится, за здоровье именинника, его жены, и – атака любящих друзей на незадачливого Круппа за то, что он растрчивает жизнь впустую: песенки, палатки, походы – вместо того чтобы заниматься научной работой и писать диссертацию. Проработали Арика по обкатанной, как я после поняла,

программе при его полном и доброжелательном молчании, и начались танцы. Крупп приглашает меня, а я думаю: «Он привел нас сюда и считает своим долгом развлекать. На следующий танец он пригласит Галю». Арик пригласил Галю. «А теперь он будет танцевать с тем, кто ему нравится, или со всеми подряд». Крупп подходит ко мне. Я чувствую себя неловко, потому что плохо танцую, но скоро забываю об этом. Помню ощущение ценности того, кто рядом со мной, мою бережность, будто Арик хрустальный и может рассыпаться от неловкого прикосновения. Границы танцев исчезают, всё смешивается, и в середине какого-то из них Крупп останавливается, отстраняет меня на расстояние вытянутых рук и, держа за плечи, говорит: «Ну?.. Здравствуй!» – это было сказано так просто и естественно, будто иначе и быть не могло. Я молча и радостно кивнула в ответ, и снова мы танцевали какие-то бесконечные танго. Комната постепенно пустела, и, когда кончилась пластинка, мы увидели, что мы одни.

– Смотри, никого нет, все ушли на кухню. – Арик нагнулся, чтобы перевернуть пластинку, – проигрыватель стоял на полу.

Я засмеялась:

– Нам создают условия.

– Ну да?

– Конечно. Пошли к ним.

Мы вышли на кухню. Там все сгрудились в кружок и дружно пели.

От злой тоски не матерись...
Сегодня ты без спирта пьян.
На материк, на материк
ушёл последний караван...

Арик взял гитару...

Потом ещё пили... Ночью ехали в такси – в немыслимой тесноте. Хотелось, чтобы никогда не приехали. Но мы приехали к подъезду общаги, где нам с Галей предстояло выйти. С нами поднялся и Крупп. Боясь, что он сделал это по ошибке, я сказала ему, что это наше общежитие, но он уверенно вылез из машины, как будто точно знал, что делает. Хотя не очень твёрдо стоял на ногах. Я с ужасом думала о том, что теперь ему придётся добрый километр добираться до дома пешком.

– Ну, ребята, вы тут проводите друг друга, а мне пора, – бросила нам Галка и быстренько смылась наверх: наше обиталище было на четвёртом этаже.

А мы остались в подъезде – я с цветком в руках, который Крупп сорвал с клумбы перед входом и церемонно преподнёс мне.

Мы не сказали друг другу ни единого слова – слова были не нужны – и долго не могли расстаться. Арик быстро протрезвел, и при этом был абсолютно пьян, но уже не от спиртного. Мне казалось, что всё это неправда: вот уйду, а утром проснусь – и ничего не будет. Ему, как потом выяснилось, казалось то же самое. Наконец, в пятом часу утра, соображая, что пора, я попыталась всё «разорвать по живому». Но когда поднималась на третий этаж, вдруг услышала... посмотрела вниз – и увидела... что Арик лезет вверх по пролёту, с перил на перила. Я бросилась вниз – ведь он мог разбиться. А он смеялся, одуревший от счастья.

– Знаешь, сколько тебе лет?

– Знаю, – ответил он.

– Шестнадцать!

Он радостно кивнул.

А мне было так страшно – ну а если бы разбился?.. Был вечер 26 сентября 1970 года – нет, уже утро 27 сентября.

Я проснулась, и первое, ещё не осознанное ощущение было – счастье. Потом мгновенно всё вспомнила и

мужественно заставила себя подумать: «Чего только не бывает по пьянке...» Я хорошо помнила, что Арик сразу протрезвел, но так мне было легче: если «по пьянке», то всерьёз ничего и не было, а значит, не будет и потерь...

Весь день провела в невесомости.

Через два дня мы с Галей уезжали на две недели в командировку по всему Союзу – Москва – Тамбов – Ленинград – Волхов – Фрунзе – Джамбул – смотр и отбор объектов: предстояли съёмки очередного заказного «боевика». Арик об этом знал. Он позвонил и пришёл накануне нашего отъезда. Весь вечер, допоздна, мы просидели на кухне (такова, видно, участь всех, живущих в общежитии). Был большой разговор «за жизнь» – по всем параметрам. Но говорили так, будто никакого вечера 26 сентября не было. Такой разговор мог состояться и раньше. Говорили о разных и очень серьёзных вещах. Сначала Арик сказал, что из его попытки помочь Гале с пропиской ничего не получилось. Потом вспомнили о Новосибирском фестивале бардов в феврале 1968 года, в котором Арик принимал участие, я же знала его по бесценному материалу, снятому в Академгородке киногруппой из Свердловска, где в то время работала. Мы говорили о судьбе Галича, о Солженицыне, о процессе над Даниэлем и Синявским, о наших танках в Праге летом шестьдесят восьмого... Тут у меня оказалось больше информации, Арик жадно слушал, но меня поразила его зрелость – он был абсолютно готов к такому разговору. Словно всё, о чём я говорила, давно уже было у него в голове, только сам он этого не знал и об этом не думал. Я дала ему почитать несколько документов из самиздатской публицистики, которые, как нечто заветное, всегда возила с собой. По реакции на них я узнавала друзей. Одним словом, разговор у нас с Ариком в тот вечер был более чем серьёзный, и оба мы были грустные и тревожные.

На следующий день мы уезжали, и Арик зашёл нас проводить. Это был очень лёгкий и светлый вечер. На перроне мне казалось, что он всё время хотел что-то сказать, но не мог решиться. И когда поезд уже тронулся, я крикнула со ступенек вагона:

– Если захочешь – пиши.

– Куда?

– Ленинград, почтамт, до востребования. Фамилию знаешь?

Арик кивнул.

Москва и Тамбов были жгучим ожиданием Ленинграда. А когда я оказалась там, мне на почтамте, в отделе «до востребования», сказали: «Нет». И после Волхова – снова «нет». Через час – экспресс в аэропорт, откуда мы летели во Фрунзе. Я не могла уйти с почтамта: не верила, что нет... Ходила по залу минут десять. И вдруг – озарение. Вернулась и объяснила девушке в окошечке, что у меня трудная фамилия, и в телеграммах её часто искажают.

– Ну например?..

– Ма–нацаканова.

Девушка посмотрела в другую клетку и сразу выбросила мне письмо. Оно лежало здесь уже неделю и было написано на следующий день после моего отъезда. В конце небольшого письма был абзац: «Но в последнее время произошло вот что: после ставшего привычным существования в счёт сегодняшнего дня опять начал мыслить, что-то чувствовать... Правда, переход на новый режим происходит медленно, с громким нутряным скрипом. Ещё долго надо будет набирать привычку интенсивнее думать и говорить... Ну вот, а сообщение о том, что это происходит благодаря тебе, для тебя не будет носить какой-либо информационной нагрузки». «Ни хрена себе!» – так и подумала. Если бы рядом была Галка, задушила бы её от радости. Для меня это было полное откровение.

В тридцать пять лет не ждёшь подарков. А это были уже... дары! Это было объяснение в любви...

Я бросилась на телеграф и дала Круппу на общежитие телеграмму: «Спасибо. Я скоро приеду. Как хорошо, что ты есть на земле». Без подписи. Понимала, что он прочтёт её не первым...

В тот вечер у Арика был концерт на заводе имени Ленина, и в общежитие он после работы не зашёл. Почту ему принесли прямо на сцену. «Твоей телеграмме, – сказал мне Петька при встрече, – мы обязаны тем, что в тот вечер был такой концерт, какого Арик никогда не давал». А Арик говорил мне потом: «Я прочёл твою телеграмму и вышел на сцену. У меня было только одно состояние: «Хочется, хочется петь! Хочется, хочется жить!»

Когда мы с Галей вернулись из командировки, Арик с Петькой пришли к нам в общагу и устроили маленький кир. С этого вечера Арик и я – мы отдельно уже не существовали. Петька смотрел на нас с завистью и сказал тогда: «Большому кораблю – большое плаванье». А кирная Галка обзывала нас «роденовцами».

– Знаешь, для меня всё решил не тот первый вечер на лестнице, а другой – грустный, на кухне. Я много думал потом. Я даже стихи написал.

На следующий вечер в своей общаге Арик раскрыл и протянул мне толстую тетрадь. Над длинным столбиком стихов было написано: «О суете».

...Сколько мыслей и слов
суета задавила в зародыше.
Суета у столов,
суетливые сборища...

Нескончаемый бег.
Я зарвавшийся мальчик.
Всё стремился к себе,

оглянулся – стал дальше.

И не хочется петь!
 Всё старо, и не знаешь, о чём ещё.
 И уже не успеть,
 если просят о помощи.

Суетою обвит,
 как морскою травой,
 нет ни битв, ни любви –
 не предатель, не воин.

Где-то плачет дитя,
 Кто-то предан, а тот – в одиночестве.
 Это всё не пустяк,
 если можешь помочь ещё...

Вряд ли я до конца поняла, о чём эти стихи, когда прочла их впервые... Была слишком счастлива. На столе стояла бутылка «сухаря», и, когда Арик хотел открыть её, сказала: «Зачем?» Ушли на улицу. Был поздний вечер, и мы, как малые дети, сломя голову носились по студёному заснеженному пустырю с ямами и колдобинами. Нам не было холодно. У Круппа горели глаза... И кто бы поверил, что бутылка «Рислинга» осталась нераспечатанной? Мы бегали и смеялись... Зачем бегали? Почему смеялись? Разве это можно объяснить?

– Хочешь, я сделаю тебя английской королевой?

Я замотала головой:

– Не хочу быть английской королевой! Лучше я рожу тебе сына. Хочешь?

Арик радостно и молча кивнул, как я когда-то, две недели назад, когда он сказал мне: «Ну?.. Здравствуй!»

Потом он провожал меня, и мы не могли наговориться.

– Послушай, Крупп, а как это ты ухитрился остаться холостым?

– Я давно был бы женат, если бы моя невеста не сбежала из ЗАГСа...

– Почему она сбежала?

– Это было ещё в институте. Она испугалась, а я был молодой и глупый.

– И как же ты это пережил?

– Очень тяжело. Долго болел, но переболел... Через пять лет мы встретились и по душам поговорили. Она все эти годы жалела... Ну а для меня всё уже было в прошлом. Зато мой шеф до сих пор надеется меня на ней женить.

– Зачем?

– Думает, если я женюсь – туризм брошу, наукой займусь... Долго уговаривал: «Ну хорошо, ты Иру уже не любишь. Но зато она тебя любит. Я сделаю командировку. Поезжай, поговори...» Так-таки и вытолкнул меня в Ленинград.

– Поговорили?

– Даже не видел. В аэропорту встретил Юра Кукин, и больше ничего не помню.

Я посмотрела на Арика с тревогой, но на алкаша он никак не тянул.

– И вот чего я ещё не понимаю – как это ты не влюбился в Ниночку? Невероятно!

– Не успел. Мы так быстро с ней подружились, что просто не успел. А потом было уже поздно.

– А в меня когда успел?

– Сразу!

– Ты ведь меня совсем не знал.

– Помнишь, я читал у тебя журнал «Сибирские огни»? Там были стихи Прашкевича, и перед ними – автограф... Я тогда подумал: «Вот если бы я смог этой женщине написать так, я был бы счастлив».

Я помнила, что там было написано: «Наде за все встречи и невстречи. Генка». Ничего особенного. Правда, так написать мог только поэт.

– А я тебя в городе – совсем не увидела. Только в Вязанке – помнишь, ты улыбался и махал нам рукой? А когда вы спели «Пять морщин» – это было всё!

– А потом вечером, у костра, что я только не пел, чтобы к тебе пробиться! А ты сидела, ко всему безучастная, и смотрела в огонь... Я переворошил в голове всё, что знал, вспоминал то, что давно уже не пел... Наконец попал – Полоскин! Ты первый раз тогда посмотрела на меня, и я спел всё, что вспомнил, и пожалел, что так мало...

– Я думала, ты поёшь для девочек. Они все были такие красивые и такие юные...

– Да, и я люблю их, порой хочется погладить по головке, но считаю, что негоже нам, мужикам тридцатых... у нас есть свои женщины – ровесницы, наши подруги...

Я ничего не сказала в ответ, но подумала: «Ты уникальное явление, Крупп. Не многие из твоих собратьев думают так же». Много позже у одного из любимых мною бардов появилась строка: «а наши женщины становятся моложе...» Нормально. И жизненно. Только вот Арик выпадал из нормы. Я скоро это поняла. За те немногие дни, которые подарит нам судьба, он ещё не раз – теперь уже не удивит – порадует меня своими откровениями.

После работы он приходил к нам в общежитие, и мы часто уходили гулять по городу. Рассказывали друг другу о своём прошлом. Старались вычерпать друг друга – и не достигали дна... Лицо кололи мелкие холодные снежинки, под ногами была слякоть, и как о несбыточном, мы мечтали о горячем чае с вареньем.

– В такую погоду, – сказал как-то Арик, – хорошо сидеть в каком-нибудь полутёмном подвальчике с любимой женщиной, разговаривать и по глоточку потягивать красное сухое вино.

– А у тебя была любимая женщина? – спросила я с любопытством.

– Это была незамкнутая цепь. Я любил её, она любила другого, да там что-то не складывалось. Но однажды она поехала в Ленинград и убедила его, что он должен её любить. Они поженились. С тех пор я её не видел... Это было два года назад.

– А я здесь уже год. Ты слышишь, Крупп, мы с тобой потеряли целый год!

– Нет, мы не потеряли. Год назад я бы тебя просто не увидел. Мне никто не нужен был год назад.

– А если бы я сама пришла к тебе в общагу и сказала: «Арик, посмотри – я же твоя судьба»?

– Я бы тебе выдал что-нибудь ироническое.

– Значит, хорошо, что я не нашла тебя год назад.

В ближайшую субботу Крупп с Петькой пришли к нам в общежитие, и Петруша стал горячо звать всех в лес. Мы с Ариком не проявили энтузиазма, зато Динка и Мальвина – одна из девочек, живших в нашей комнате, – уговорили Петьку взять их с собой. Погода была неласковая, пришлось одеть всех потеплее и отпустить. До сих пор не знаю, случилось всё это спонтанно или Петька намеренно увёз девочек, чтобы оставить нас с Круппом вдвоём. Как бы там ни было, но это были единственные часы – остаток дня, вечер и ночь, когда мы с Ариком оказались одни и нам никто не мешал. Были исповеди, было молчанье, были любовь и нежность...

– Скажи, а у тебя не вызывает отчуждения то, что у меня двое взрослых детей – совсем чужие тебе дети?..

Он засмеялся. И ответил, как на давным давно продуманный и решённый вопрос:

– Нисколько. Наоборот. Если ты мне нужна такая, какая ты есть сейчас, значит, оправдано твоё прошлое. Человека

делает его прошлое. Если б у тебя не было детей, ты была бы другая.

И мы пришли к выводу: все наши потери – не потери, если мы встретились. Самое страшное уже позади – то, что мы могли бы не встретиться.

И вдруг – страх: а что, если война... «Нет, нет! Не отдам! – кричала я иступлённо, сцепив руки у него за спиной (вот откуда – «твои руки тёплым замком...»), – я пойду вместе с тобой». Арик утешал меня и говорил, что войны не будет. Дурочка, я тогда не знала, что потерять можно и без войны.

– Господи! Как я благодарна твоей матери, что ты есть на Земле!

Арик застонал:

– Ты коснулась самого больного места...

– Твои родители будут против?

Он кивнул. Мне не нужно было объяснять. Я не в первый раз сталкивалась с этой «проблемой».

– Ну, тогда ничего не пиши им, не нужно их травмировать... – Мне было очень грустно, ходить по трупам не хотелось. – А может быть, и вообще ничего не надо?

Крупп упрямо мотнул головой:

– Я слишком хорошо отдаю себе отчёт в том, что любовь – это редкая вещь, и ею нельзя жертвовать даже ради убеждений родителей.

Наутро вернулись наши беглецы, замёрзшие, но бодрые и румяные. Оказывается, налетел ветер со снегом, они заблудились, так никуда и не пришли, вернулись на станцию и первой электричкой приехали в Минск. А мы, счастливые, с энтузиазмом отпаивали их горячим чаем.

Зима явилась рано, поцеловала снежной метелью и вдруг куда-то растаяла... Осень вернулась и подарила ещё с десятков тёплых дней. Но когда всё хорошо, обязательно случится какая-нибудь бяка, которая всё испортит. На сей

раз это случилось с Галей: директору нашей студии пришла телеграмма из ВГИКа о том, что Галя направлена по распределению в Свердловск и должна отработать там положенные два года. Телефонные переговоры с отделами кадров Свердловской киностудии и ВГИКа ни к чему не привели: Свердловск стоял насмерть. И через несколько дней на студийной доске объявлений появился короткий приказ: «...уволить, как незаконно принятую».

На Галю это подействовало убийственно. Она сразу сдалась. Когда ей было плохо, она уходила в сон, как другие – в запой. Сутки, вторые... – она лежала на своей раскладушке, равнодушная ко всему. На мои просьбы встать, что-то сделать, куда-то пойти, она потухшим голосом отвечала одно и то же: «Зачем?..»

Я не знала, что делать. Пришёл Арик. Мы снова сидели на кухне – держали совет. Перебрали все варианты, и только единственный давал шанс изменить ситуацию – брак. В данном случае – фиктивный. Тут нужно сказать, что ещё со школьных времён у меня было чёткое отношение к фиктивному браку – как к средству защиты и спасения личности от произвола общества или отдельных его представителей, имеющих юридическую власть над личностью. Бессмертный роман Чернышевского я прочла в том нежном возрасте, когда все благотворные идеи глубоко врезаются в сознание и вырабатывают соответствующее мировоззрение. Арик был со мной солидарен – мы принадлежали к одному поколению. Оставалось найти «мужа». Задача – не из лёгких. У меня в Минске знакомых практически не было. Арик называл одно имя за другим и тут же отвергал кандидатуры: кто только что развёлся и ещё слишком напуган, кто – с предрассудками.

– Я бы расписался с Галкой сам, но ведь я хочу это сделать с тобой...

– Если никого не найдём, я буду тебя просить об этом. Выхода другого нет.

Арик снова стал перебирать имена: нет, нет, нет...

– Стоп! Есть один. По-моему, он без предрассудков и более того – человек авантюрного склада. Саша Чуланов! Работает на телевидении в молодёжной редакции. Иногда зовёт меня спеть для своей передачи...

– Когда ты сможешь с ним поговорить?

– Да вот завтра мы ведь едем на слёт в Николаевщину, он обязательно будет – там и поговорим.

Уходя на вокзал, я сказала Галке, чтоб не сотворила какую-нибудь глупость: «Всё будет хорошо – мы, кажется, нашли тебе «мужа».

Галка саркастически хмыкнула и перевернулась на другой бок – лишь заскрипела раскладушка.

В электричке Арик познакомил меня с Чулановым. Чуть выше среднего роста, светлые вьющиеся волосы. Лицо... Даже не берусь описать. Оно казалось немного засушенным. Но глаза... глаза меня поразили. Я долго не могла понять – чем. И только позже до меня дошло – они были непрозрачными, в них не было глубины – как оловянные кружочки с чёрной, нарисованной точкой зрачка. Говорил быстро, порывисто, то и дело вставляя в речь грубые слова, которые в его устах были органичны и слуха не резали.

– Ты не видел тут Рябчикова? Представляешь, эти засранцы обещали приехать – и никого нет. Баба, говоришь, твоя? А когда это ты успел жениться, Крупп?

Арик обнял меня и улыбнулся:

– Да вот, как только впервые переночевал в женском общежитии – так и женился.

– Везёт дуракам! А тут уже тридцатник закрыл, а счастья нет... – Чуланов увидел кого-то в конце вагона и убежал.

– Ну как? – спросил Арик.

Я пожала плечами:

– Как будто ничего...

– Может, поговоришь с ним сама? У тебя это лучше получится.

Электричка до Столбцов шла долго. Стоя с Чулановым в тамбуре, я сказала ему:

– Арик хотел поговорить с тобой, но потом решил, что лучше – мне. Дело деликатное: требуется помощь хорошему человеку, – и я рассказала про Галку, про тяжбу Свердловска с «Белорусьфильмом» и про приказ об увольнении. Я почувствовала, что внутри Саша задёргался, но внешне был совершенно спокоен.

– Оператор, говоришь? Хороший оператор?

– Да.

– А сама – как? Ничего?

– Какое это имеет значение? Ты же не в самом деле на ней женишься!

– Ну, всё-таки... Приятно.

– Понимаешь, она не баба – она хороший парень. Добрая и своя в доску! И мы её очень любим. Если никого не найдём, Арик распишется с ней сам.

Это Чуланова поразило:

– Крупп – сам?!

– А что делать? Помогать–то надо! Правда, мы собирались с Круппом расписаться, но это никуда не уйдёт, распишемся позже.

Чуланов смотрел на меня во все глаза. Помолчал...

– Ну давай попробуем... – Мне показалось, что слова эти дались ему с трудом. – Когда нужно?

– Как можно быстрее! Группа уезжает на съёмки, и если не будет оснований восстановить Галку на работе, возьмут другого оператора. Только имей в виду – об этом никто не должен знать. Ни один человек. Не проболтайся.

Порешили встретиться в понедельник утром у входа в ЗАГС.

Первый раз в лесу мы с Ариком были вместе. Это слово можно понимать буквально, потому что он выпускал меня из рук только когда брал гитару. Туристы потом считали этот день днём нашей свадьбы... То, что «Крупп женился», мгновенно стало известно всем, а народу там была тьма. Но Арик вёл себя так, будто мы с ним были наедине. Всё у него было просто и естественно. А мне было тепло.

– Знаешь, со мной такое впервые. Я нисколько не стесняюсь этих ребят. Я такой счастливый! А ты?

В понедельник в ЗАГСе был выходной. Пришли во вторник. Вчетвером. Заполнили документы. Чуланов был бледен. Пошёл с бумажками в кабинет – должен был договориться о немедленной регистрации. Ждали долго. Волновались. Наконец вышел – ещё бледнее. Еле выдавил из себя: «Но пассаран». И опустил на стул. Пошли мы с Круппом. Пришлось сказать, что съёмочная группа завтра выезжает в экспедицию, и если утром Галя не предъявит в отделе кадров свидетельство о браке, она теряет работу. Уговаривали долго: я – словами, Арик – глазами.

– Ладно, приходите к концу рабочего дня.

Разбежались. Собрались снова через четыре часа. Чуланов пришёл с бутылкой шампанского и коробкой шоколадных конфет. Молодец! Никто из нас об этом не подумал.

В кабинет, где регистрировали браки, мы вошли последними. Всё было буднично и по-деловому. Я уж не говорю об одежде: Чуланов был в плаще, Галка в пальто и мы с Ариком – тоже. Заполняя документы, регистратор с любопытством поглядывала на нас с Круппом, а в конце процедуры улыбнулась и сказала:

– Кажется, нужно регистрировать ещё одну пару. Решайтесь. Где одна – там и две, заодно распишу.

Арик посмотрел на меня с неммым вопросом...

Вот так нас испытывает судьба – сумеешь ли оценить мгновенье? Я не сумела. Потому что казалось – уж это-то от нас никуда не уйдёт, и хотелось всё сделать по-настоящему, празднично и торжественно, тем более, что Арик женится в первый раз. Теперь-то я знаю: принимай с благодарностью то, что дарит тебе судьба, и не думай, что ты достойна большего, – останешься у разбитого корыта. Именно это со мной и случилось.

После «супружеского» поцелуя регистратор предложила взять бокалы и отметить событие, но Чуланов, поставив на стол шампанское с шоколадным ассорти, сказал:

– Спасибо, это для вас. А нас ждут дома...

На крыльце ЗАГСа Галя отдала ему свидетельство о браке, и «молодые» разбежались в разные стороны: мы с Галей – в нашу общагу, а Чуланов – в свою. На прощанье мы сказали ему, что с нас причитается – отметим, когда Галя вернётся из командировки.

Через неделю, 30 октября, был день рождения Круппа. Возраст Христа – Арику исполнялось тридцать три. Туристы собирались отмечать это, как водится, в лесу, а «городские друзья», естественно, в городе. За время общения с Ариком я успела уяснить, что всё его окружение чётко делилось на два лагеря: с одной стороны – лесная братия, ребята, с которыми он ходил в большие походы – на север, и в малые – на выходные, в окрестные белорусские леса, с другой – «городские друзья» – те, что в лес не ходили или ходили очень редко. Среди них были коллеги Арика из заводского КБ, бывшие однокашники по институту, вместе с ним получившие распределение в Минск, холостые и с жёнами, и ещё – стайка женщин-журналисток, симпатичных, умных, с претензиями на ранг интеллектуалок. Они считали, что «сделали» Арика, и потому он безраздельно принадлежит им. «Городские друзья» явно ревновали Круппа к «лесным» ребятам, с

которыми он проводил все выходные, и искренне недоумевали, что он в них находит. А «лесной» Петька однажды спросил:

– Крупп, ну что у тебя общего с этими жлобами?

И не получил ответа – Арик только улыбнулся. Меня всегда поражало, что он умел находить язык со всеми, всех понимал, никого не судил, и все его любили. Так и сейчас – он никого не обидел: в пятницу отмечал свой день рожденья с «городскими друзьями», а в субботу – с туристами.

В одной из знакомых Арику квартир собрались все, кого я видела на дне рожденья Ильи Овсищера. Крупп сказал, что мы женимся и ищем квартиру, и все обещали нам помочь. В тот вечер мне было так же тепло и комфортно, как в лесу. Арик создавал потрясающее защитное поле, в котором можно было быть только счастливой. Я сидела на ковре у его ног, он – в кресле, моя голова лежала у него на коленях, а рядом, в другом кресле, – молодая, изящная, светловолосая женщина по имени Саша. Мы как-то очень интимно, тепло и откровенно разговаривали. Подошла другая женщина – её звали Дина – и вдруг призналась:

– Арик, я тебя всегда побаивалась, а теперь, когда узнала, что ты женился на женщине с двумя детьми, больше не боюсь.

Когда мы, уходя, прощались, некоторые из друзей Круппа заверяли меня в своей дружбе и преданности. Я удивлялась, но принимала всё за чистую монету.

В субботу мы с Ариком, Динкой и Валентиной Николаевной уехали на Перетуть – есть такая речка в Белоруссии, – туда ещё накануне приехало не меньше сотни человек и уже всю кипела бивуачная жизнь. Наше сумасшедшее лесное счастье продолжалось. А наутро:

– Арик, ты проспал завтрак!

– Зато мне было хорошо.

Однажды в общежитии я увидела, что Арик с Динкой самозабвенно обнимаются. А когда я провожала его, он сказал:

– Знаешь, я сегодня почувствовал, что Динка мне не чужой человек. Она мне дочь. Я люблю её.

«А жизнь нам всё дарит свои подарки» – подумала я строчкой из песни Арика.

– А жизнь нам всё дарит свои подарки... – сказал Арик вслух.

Мы засмеялись.

Вернулась из экспедиции Галя. Как и обещали, мы устроили в общежитии вечеринку и пригласили Чуланова. Девочкам сказали, что отмечаем нашу с Круппом помолвку. Всё было хорошо, и, занятые собой, мы только к концу вечера заметили, что Галка с Сашей, пристроившись за кухонной дверью, целуются. Арик бросился к ним с объятьями:

– Ребята! Как я рад за вас! – Он ликовал, как ребёнок.
– Галка! Чулан! Вы молодцы! Как я рад за вас!

Я же была в таком кайфе от собственного счастья и так расслабилась, что ни малейший сигнал тревоги не прозвучал у меня внутри. Только и сказала Круппу:

– Вот какие в жизни бывают сказки! – Я была рада за Галку.

Тёплые дни кончились, завьюжила холодная, промозглая осень, а мы с Ариком всё не могли найти квартиру. Каждый день я звонила ему со студии на завод, а он мне – после работы в общежитие: говорил, что ему принесли новые адреса, мы встречались и шли смотреть. Слякотные кривые улочки в частном секторе, крохотные и такие грязные комнатухи, что хотелось убежать из них подальше – и мы убегали. А если попадалась приличная

комната и мы уже готовы были обрадоваться, то хозяйка, узнав, что у нас есть дочка, говорила твёрдое «нет».

Вот тут прошла в нашей жизни очень страшная полоса. Меня охватывало отчаянье и ощущение безнадежности. Мне казалось, что всё у нас с Круппом рассыплется из-за того, что нет хаты. А бросить клич среди туристов он стеснялся – не любил никого грузить своими заботами. После тусклых вечеров в нашей общаге – деться было некуда – мы прощались так, что, казалось, это конец. Казалось, стоит однажды Арику не позвонить, и всё оборвётся. Но он упорно звонил каждый день.

– Мне дали ещё два адреса. Сходим?

Мы встречались, как чужие... Шли по адресам. И это была очередная неудача... Оставаясь одна, я понимала, что происходит страшное. Что-то рушится, и ничего нельзя спасти...

Чуланов после вечеринки у нас ни разу не появился. Крупп пожал плечами и сказал, что он этого не понимает. Галя ходила чернее тучи и писала стихи. Я попыталась найти объяснение, чтобы утешить её:

– Уверена, что он ищет квартиру, чтобы забрать тебя. Видишь, как нам с Круппом плохо – он тебя от этого бережёт.

Галка только фыркала и курила. Я и сама верила в то, что говорю, потому что иначе не могла ничего объяснить.

Началась настоящая зима. Однажды нам с Ариком надоело мёрзнуть в поисках несуществующей квартиры, и мы пошли в кино. На «Начало» с Чуриковой. В фойе висели яркие портьеры. Он посмотрел на них и сказал:

– А у нас в общаге повесили новые занавески на окна...
– сказал, как мне показалось, с некоторым сожалением.

– Арик, ты не раздумал... с квартирой?

– Нет. Откуда у тебя такие мысли? А ты?

– Нет.

Наконец Петьке надоело смотреть на нас, и он бросил клич на очередной «встрече» – так назывался еженедельный сбор туристов возле почтамта, происходивший после работы по четвергам, там они разбивались на группы по маршрутам и делали раскладку. Не прошло и двух дней, как нам нашли комнату. Правда, без душа, но просторную, на втором этаже куркульского дома в сельхозпосёлке. Так в Минске назывался небольшой район, застроенный крепкими частными домами. Динкина школа оказалась недалеко, и это было замечательно.

Мы перебрались в один вечер – пятого декабря. А шестого начинался слёт в Смоленске. Арик сказал: «Не поеду». Я пыталась было уговаривать.

– Нет. В Одессу полечу, а Смоленск обойдётся без меня.

Боже, какие это были счастливые дни! Вечера, ночи... Арик говорил: «Это несправедливо, что в сутках одна ночь. Одна должна быть для любви, вторая для разговоров, третья – для сна». На сон у нас времени не оставалось.

Мы забыли чёрную полосу, которую только что переплыли благодаря Петруше. Лишь однажды я сказала:

– А ведь всего этого могло не быть.

– Да, могло не быть. – Арик понял, о чём я...

– Только благодаря тебе этого не случилось. Каждый вечер, когда мы расставались, я думала, что больше ты уже не позвонишь. Как ты устоял, я не понимаю.

– Инженерное мышление помогло. Я понял, что то, что потянуло нас друг к другу, – вечно, а то, что оттолкнуло, – временно, и причина этого – во временных обстоятельствах. Как видишь, я оказался прав.

Сквозь окно падал мерцающий отсвет от заснеженных крыш на чеканный профиль Круппа, и он казался мне...

– Господи, какой ты красивый!

– Вот-вот, моя бабушка мне то же самое говорила!

Но его восхитительная ирония была не властна надо мной:

– А знаешь, почему?

– Знаю: она меня любила.

– Арик, а почему ты решил, что нам непременно нужно жениться?

Он посмотрел на меня удивлённо и очень просто сказал:

– Женитьба – для меня единственный способ быть вместе с любимой женщиной.

Он помолчал и вдруг неожиданно признался:

– Когда я понял, что люблю и что это серьёзно – после того грустного вечера на кухне, – я долго сопротивлялся. Боролся сам с собой.

– Почему?

Это было невероятно. Бежать от любви, по моим понятиям, – преступление.

– Я был напуган. Боялся снова напороться на незамкнутую цепь.

И Арик рассказал мне о Светлане:

– Наверное, я и в самом деле лесной человек. Когда мне удавалось увезти её в лес, на озёра, она любила меня и ей больше никто не был нужен. Как только мы возвращались в город, у неё начиналась депрессия, и она снова рвалась в Ленинград.

*Всё так просто: всё та же стеклянная дверь,
как всегда, вечерами она на запоре.*

*Как всегда, ты стучишься в окно, а теперь
ты до завтра уходишь, так это ж не горе.*

Ты до завтра ушла, вот и кончился день.

Тут горюй – не горюй, только день этот прожит.

Ухожу я домой, и длинющая тень

всё кидается под ноги редких прохожих.

Ветер вертит над городом мокрый снежок,

этот снег белым грузом на дом твой ложится,

в доме мало тепла, для тебя он чужой,

*с этим домом ни мне, ни тебе не ужиться.
Только разве причина для горя – твой дом?
Он тебя у меня до утра отбирает,
а потом отдаёт, но ведь дело не в том...
Если это причина, то только вторая.
Дом тебя отпускает ко мне, не ко мне?
Но крадут тебя письма, звонки телефона.
Вечер на сердце кинул десяток камней.
Как нести эту ношу без крика и стога?*

Мне кажется, что Арик нёс «эту ношу» с мужественным и даже философским оптимизмом.

*Но чтоб не начал тяжелеть
мешок печалей и утрат,
договоримся не жалеть
о том, что к нам придёт с утра..
Давай, злых слов не говоря,
себя от ветра не спасать.
Давай сегодня, как в морях,
По ветру ставить паруса...*

А когда Светлана уехала – и Арик знал, что она не вернётся, – он был на грани... Вот тут-то и появились все эти песни – «Печаль», «Чёрные совы», «Хочется жить»...

*Перестань грустить, выйди из дому,
плащ накинь – ничего, что ливни.
Вон куражится уже издавна,
побеждая тебя, твой противник,
твой противник – твоя печаль.*

....

*Ставь против горя твою доброту,
это, наверное, ко-что значит.
Пусть даже песня застрянет во рту,*

*хочется петь, даже если ты плачешь.
Хочется, хочется петь.*

*.....
Жадность да жажда – с ними мне мучиться.
Прожить бы дважды, да не получится.
Чёрные совы, смутные облики...
Не нарисован путь мой на облаке.*

*Ну, не добрали мы в жизни почестей,
но не добра ли от жизни хочется?*

Кстати, сам образ – чёрные совы – Арику подсказала Светлана. Она рассказала ему «Новогоднюю сказку» Дудинцева: явление чёрной совы – переломный рубеж в жизни человека, это его последний шанс – он должен сделать что-то важное для людей или погибнуть.

*Улетаешь, опять улетаешь,
просто таешь, как льдинка в руках.
Что теряешь и что обретаешь
в уходящих назад облаках?
Помню губы твои, помню руки,
и печаль, нисходящую с плеч,
я опять привыкаю к разлуке
(не привыкнуть бы к радости встреч!).
Вслух скажу: нас дела разделяют,
про себя: если б только дела...
Держит память и не позволяет
Мчать вперёд, закусив удила.
Что же делать мне – пить до икоты?
Слушать бред о любви «Маяка»?
Чуть печально мне, что далеко ты,
Очень страшно, что ты далека...*

– Как выбрался? Ребята вытащили... Пришли, сунули в руки гитару, сказали: «Пой!» И я понял, что нужен им. Стал петь и понял, что им нужны мои песни. Так и выжил. На это ушло два года. – Арик помолчал... – Я не хотел всё это снова пережить. Поэтому и боролся сам с собой.

*Просто глубокая полночь, но это не страшно,
тихо вокруг, даже ветер ушёл на покой,
где-то на краешке памяти жив день вчерашний,
умер закат, до рассвета ещё далеко.
Старое кончилось, новое не наступило.
Что ж, что нет радости, это ещё не беда..
Был жаркий полдень, был ветер, и солнце слепило.
Ночь, тишина, и созвездья качает вода....*

– Тебя не было в Минске две недели, и у меня было время подумать. Я просеял всю свою жизнь и последние годы. Спросил себя: а что мы делаем в жизни хорошего? Кому даём радость? И что берём сами? Тогда и написал «О суете».

Я рассказала Круппу историю, которая у меня не выходила из головы: у отца моего знакомого Бори Левина до его матери была первая жена, она ушла к другому, потом поняла, что сделала ошибку, раскаялась и вернулась. Отец не простил: она опозорила его перед всей деревней. Он выгнал её.

– А как бы ты поступил? Ты простил бы?

Арик повернул голову и посмотрел на меня удивлённо.

– Конечно! Если бы любил. Когда уходит любимая – уходит жизнь. А если она возвращается, значит, возвращается жизнь. Как же я могу её не принять?

Арик вспоминал о прошлогоднем круизе на одесском теплоходе, где проходил конкурс бардов. Самая большая привязанность его после этой поездки – Валя Вихорев.

Арик рассказывал о нём с такой любовью, что сделал меня заочно его другом. И, между прочим, рассказал такую историю. В тридцать восемь лет Валя Вихорев в каком-то походе влюбился в восемнадцатилетнюю девочку. Он так испугался, что наутро взял рюкзак и ушёл, никому не сказав ни слова. Я представила, что эта девочка – вдруг! – тоже его любила. И испугалась – а если с Ариком когда-нибудь случится то же самое? Мне стало страшно от мысли, что он, по каким бы то ни было высоким соображениям, тоже откажется от любви, и за себя – от того, что я могу оказаться рядом с Ариком, когда он уже не будет меня любить. Мысль эта была невыносима. Как зубная боль.

– Послушай, Крупп, обещаю тебе, поклянись: если ты когда-нибудь полюбишь другую женщину – ты уйдёшь от меня. Но никогда – от любви. Поклянись!

Арик несколько мгновений смотрел на меня молча, пока не убедился в моей серьёзности.

– Клянусь. – Он помолчал... – А ты? Как ты поступишь, если полюбишь другого мужчину? – у него даже голос дрогнул от волнения.

– А как ты хочешь, чтобы я поступила?

Он хотел что-то сказать. И не мог...

– Не нужно. Я знаю. Ты хотел бы того же, что и я, – ты хотел бы, чтоб я ушла, а потом вернулась... – Арик кивнул, но не мог сказать ни звука.. – Конечно: такое возвращение куда дороже, чем первый приход. – Он снова кивнул.

А в это время Петька – бедный Петька! – звонил из Смоленска девчонкам в общагу и требовал, чтобы Крупп приехал на слёт. Галка сказала, что всё передала Арику, а сама и не думала идти к нам. Она всё понимала. Потом уже извинилась:

– Арик, ты ведь всё равно бы не поехал?

– Галка, ты умница! Я тебя люблю.

Дальше всё было плотно: через день, восьмого декабря, мы устраивали новоселье для друзей, девятого были

приглашены на день рожденья к жене Овсищера, Тамаре Реутович, десятого Арик улетал на слёт в Одессу, а двенадцатого мы с Галкой уезжали на съёмки. С Динкой до возвращения Арика согласилась пожить Валентина Николаевна.

Комната, которую мы сняли, была свободна от мебели. Арик забрал валявшийся у кого-то свой надувной матрас, и мы устроили на нём постель для Динки. Я принесла из столярного цеха студии длинную круглую палку по ширине комнаты. Мы поставили её между стенами в упор на высоте двух метров, повесили два зелёных байковых одеяла, купленных ещё в Тикси и путешествовавших со мной по всему Союзу, и таким образом сделали для нашей дочки автономную спальню. В другом углу из нескольких спальников соорудили ложе для себя, закрыв его золотистым гобеленом. А вот стола у нас не было. Арик сказал:

– Я приглядел в спортивном магазине дачный набор из пластика. Пойди посмотри, понравится – купим.

Я посмотрела – понравился. Тут же купила и принесла домой – Динке надо было на чём-то делать уроки – невысокий мраморного пластика столик и четыре крохотных малиновых стульчика со спинками. Пока Арика не было дома, соорудила какие-то занавески на окна и повесила, как умела – по-женски, то есть «на соплях», книжные полки. Вся моя библиотека осталась, естественно, дома у мамы, а с собой я возила только самые-самые. Среди них были: любимейший Бёлль, Цветаева, Ахматова, Экзюпери, несколько книжек Хэмингуэя и Анчарова, пятитомник Есенина, Александр Грин и Фраерман, да Лермонтов с Пушкиным, конечно, и ещё несколько сборников современных поэтов – Юнна Мориц, Наум Коржавин, Андрей Вознесенский... Куча вещей и разного хозяйственного скарба, сваленного накануне посреди комнаты, рассосалась, всё обрело свои законные места.

Арик пришёл с работы и остановился на пороге, не узнав жилище, которое он покинул утром. Потом увидел меня и рассмеялся:

– Я думал, что попал в другую комнату.

Динка подняла на Круппа сияющие глаза – она его обожала. Арик заглянул в её тетрадки, остановил взгляд на согбенной спине ребёнка, склонившегося над низким столиком, провёл ладонью по острым лопаткам и подытожил:

– Так дело не пойдёт. Пойдём–ка со мной и принесём всё, что надо.

Они принесли из магазина «Сделай сам» небольшую столешницу и ножки с какими–то железками в полиэтиленовом пакетике. В этот же вечер – какое счастье, что мы ещё не успели лечь спать – я увидела, как одна из книжных полок, прибитых мной над нашей постелью, поползла вниз и рухнула, вывалив веером все книги. Я втянула голову в плечи от ужаса, Арик подошёл, увидел подвесные петли, приколоченные гвоздями к «дсп», усмехнулся и, аккуратно сняв прямо с книгами вторую полку, поставил её на пол. На следующий день он принёс с работы дрель и шурупы, по–новой закрепил петли, и мы снова водрузили полки на стену.

За всю мою жизнь у меня не было прекраснее жилья, чем та пустая комната в сельхозпосёлке.

На новоселье к нам, кроме Галки и Валентины Николаевны, пришли друзья Арика – «лесные» и «городские». Среди них были два институтских друга, которых я раньше не видела: Игорь Коваленко и Яша Сапожников. Мы с Галкой «накрыли стол» – прямо на полу постелили газеты по центру комнаты во всю её длину, попросили у хозяйки тарелки, соорудили «сиденья». Илья Овсищер улучил момент и подошёл ко мне, чтобы поздравить.

– Я рад за Арьку, рад за тебя... Скажи по секрету: как это вам удалось устроить здесь без ничего такой уют?

– Это просто любовь, Илюша.

– А где Чуланов? – спросил кто-то, – почему его нет?

– Я слышал, ему комнату дают: он женился...

Слух подтвердился: Саша позвонил на следующий день Гале, сказал, что скоро получит комнату и заберёт её к себе. Позже говорили, что на телевидении, узнав о женитьбе Чуланова, женщины тихо плакали и бурно впадали в истерики. Пожалуй, в те дни в этом ведомстве популярнее его никого не было.

Вечером, когда мы с Ариком пришли на день рождения к Тамаре Реутович, всё собравшееся там общество бурлило, как потревоженная пчелиная семья. Если наш союз с Ариком был хоть как-то подготовлен нашими совместными появлениями в обществе – и вообще, если вспомнить, всё началось у всех на глазах, во время танцев на дне рождения Овсищера, в этой же самой квартире, – то женитьба любимого в кругу журналистов Саши Чуланова, дружившего со всеми знакомыми дамами и ни одной из них не отдававшего предпочтения, была абсолютной сенсацией. Журналистки, любившие Арика и считавшие его «своим», ещё не успели привыкнуть к первой утрате, как на них обрушилась вторая. Они так и говорили:

– Ну надо же, приехали две какие-то из Свердловска и отхватили двух лучших мужиков!

Говорилось это, конечно, со смехом, как весёлая шутка, но... в каждой шутке... Всех этих тонких нюансов я тогда не почувствовала, мне казалось, что все искренне радуются за Чуланова, и на этом фоне всеобщей доброты у меня невольно вырвалась фраза:

– Бывают же в жизни такие чудеса! Ведь всё начиналось с фиктивного брака, а кончилось любовью.

И тут я увидела, как смыло улыбки с окружавших меня лиц.

– Какой фиктивный брак? – огорошенно спросила журналистка Света Климкович.

Мне пришлось поведать о претензиях Свердловской киностудии и о миссии спасения, которую собирался взять на себя Крупп, но взял Саша Чуланов. Повисло тяжёлое молчание. Я вдруг почувствовала себя во враждебном окружении. От доброты не осталось и следа – отчуждение и осуждение. Никому не пришло в голову оценить поступок Чуланова как благородный. Я ничего не понимала. Когда возвращались домой, сказала Арику:

– Кажется, я некстати проболталась о фиктивном браке. Я ведь была уверена, что они всё знают...

– Какая разница! Всё уже в прошлом. Важно, что сейчас Чулан и Галка любят друг друга и счастливы.

Наутро Арик улетел в Одессу – его ждал «плавучий песенный остров», а я занялась сборами в съёмочную экспедицию. По плану первая командировка нам предстояла в Джамбул. Но я помнила, что 19 декабря в Ленинграде, в клубе «Восток», состоится концерт бардов, куда приглашён Арик. Я изменила график, и первую съёмку мы с моим покладистым директором Мишей Каминским решили провести в Волхове. Я радовалась, что приготовила Круппу сюрприз: на выходные мы с Галкой приедем в Ленинград и увидимся с ним в «Востоке».

В день отлёта с утра всё было готово: чемодан уложен, в комнате чисто, всё постирано и поглажено, сделаны последние наказы Динке, немудрёное домашнее хозяйство передано Валентине Николаевне. Осталось написать Арику письмо, которое он прочтёт, когда прилетит из Одессы, – из него он узнает, что мы встретимся в Ленинграде. В тот момент, когда я готова была сесть за письмо, мой взгляд упал на книжную полку – там, между книгами, которые стояли очень плотно, зияла широкая дыра. Я подошла и увидела, что нет сборника стихов Марины Цветаевой. Не могла поверить своим глазам. Это был толстый синий том

из большой серии «Библиотеки поэта» – первое издание Цветаевой после долгого её непечатания. Когда он вышел, купить его было невозможно – эту драгоценность мне подарила во Фрунзе моя подруга, большая книгоманка, у которой собственная библиотека не умещалась в трехкомнатной квартире. Я всюду возила «Марину» за собой и предвкушала радость, которая ждёт Круппа, когда он откроет её для себя. Теперь не откроет... Книгу украли. В тот вечер, когда мы праздновали новоселье. Друзья Арика. Если бы они украли только у меня... Но теперь ведь и у него....

Я была в шоке и сгоряча посвятила этому событию чуть ли не всё письмо Круппу. Доминирующая мысль была такая: эти люди, одевшие личину твоих друзей, лживы и лицемерны – я не желаю их больше видеть. Положила письмо в конверт и оставила на бумагах Арика.

Перед самым уходом вдруг подумала: каково же ему тут будет на этом золотом ложе одному? Я только что испытала это на себе – две ночи подряд. Я взяла лист бумаги и написала: «Я люблю тебя, Круппик, ну пожалуйста, будь мужественным и дождись меня. Я буду всё время думать о тебе. Я люблю тебя». Положила листок на подушку и закрыла поверх гобеленом.

В самолёте мне стало нехорошо. Я вспоминала всё, что написала Арику о его друзьях, и мне становилось всё хуже. Думала: одна паршивая овца, а я обо всех – лжецы, лицемеры... Я поняла, как больно Арику будет это читать, и ощутила эту боль сама. И что такое книга, даже самая любимая? Как же можно из-за неё сделать кому-то больно? А я сделала больно Арику. Мне было совсем плохо.

Не помню, как мы прилетели в Волхов, как прошла первая рабочая неделя... В субботу, 19 декабря, мы с Галей были в Ленинграде, в квартире её знакомой, телефон которой я оставила Арику в письме, чтобы он

позвонил мне, когда прилетит сюда. А кроме того, о возможности нашей встречи в Ленинграде я ещё дала ему телеграмму до востребования на одесский почтамт. Теперь я ждала звонка, и в этом ожидании была вся моя жизнь. Периодически я звонила в клуб, где должен был проходить концерт, и спрашивала, не появился ли Крупп. «Нет», «нет» – и так до вечера. А вечером появилась Лариса Буркова, однофамилица и названная сестра Ниночки Бурковой. Мы были шапочно знакомы – пару раз встречались в моих прежних командировках, а Арика она знала в основном по рассказам Нины. Всё было хорошо, пока она не «набралась». А «набралась» – вдруг стала агрессивной:

– Ты – и Крупп? Никогда этому не бывать! Крупп – тонкий человек, а ты слишком рациональна, чтобы быть рядом с ним. И не сиди на телефоне, и не звони – не придёт он, никогда он к тебе не придёт. Перебьёшься!

Галка и её подруга Ирина, хозяйка ленинградской квартиры, пытались урезонить Ларису, но она всё рубила и рубила, пока не свалилась мертвецки пьяная. Потом вызвали такси и увезли её.

Уважая Ларису Буркову, как близкого Ниночке человека, я к словам её отнеслась более чем серьёзно. Всё, что говорила Лариса, наложилось на моё письмо Круппу, в котором я теперь горько раскаивалась... Я представила, как возвращаюсь домой, вхожу в нашу комнату и вижу пустую стенку – там, где висели четыре фотографии его ленинградских друзей-бардов, которые Арик принёс из общаги. Значит, он ушёл... В общем, я разрыдалась. Напрасно Галка и Ирина пытались вразумить меня: нельзя же обращать внимание на то, что скажет баба по пьянке.

– Нет, она права: я не стою Круппа. Она ведь сказала точно – я слишком рациональна.

Позже, когда всё ушло в прошлое, анализируя события этого вечера, поняла, почему Лариса не принимала меня:

она не принимала непьющих. А ведь это – беда моя. Попадая в компанию нормальных людей, я чувствовала свою неполноценность: выпив немного, они уносились ввысь, а я оставалась всё там же. Пьянела от радости, от счастья, от любви, а к спиртному была равнодушна – пила только то, что вкусно: домашнюю наливку и шампанское. Так что у Ларисы были все основания сказать обо мне всё, что она сказала. Но это я поняла позже, а тогда... Тогда у меня была истерика – я рыдала, и меня невозможно было застопорить. Только под утро забылась, но часто просыпалась – мне мерещились телефонные звонки. Наконец в семь утра в коридоре зазвонил телефон. Это был Арик. Он ругал себя:

– Идиот! Только сейчас додумался, что могу ведь позвонить и из Минска, – и рассказал всё, что произошло.

Телеграмму в Одессе он не получил – не догадался сходить на почтамт. Зато туда из Николаева приехала его сестра Дина и забрала их с Володей Муравьёвым в свой город. В Николаеве Круппа все любили и с нетерпением ждали его концерта. Арик рассчитал, что если напрямую полетит в Ленинград, то успеет к началу мероприятия в «Востоке», но из-за непогоды застрял в аэропорту и понял, что опоздал, – так двадцатого в три утра добрался до нашей «мансарды» в Минске. Прочёл моё письмо и чуть не свихнулся от мысли, что я уже много часов жду его в Питере. Только под утро догадался помчаться на центральный телеграф...

Я стояла в тёмном коридоре, опухшая от слёз, и мы разговаривали. Телефонный автомат, по которому Арик звонил из Минска, «заклинило», и мы проговорили целый час. Что это был за разговор! Я умоляла его порвать на мелкие кусочки моё письмо и забыть всё, что там написано. – Не могу порвать – там ценные рекомендации по хозяйственным вопросам.

– Оставь последнюю страницу, а всё остальное порви и всё забудь. Обещай! – Я редела в трубку и рассказывала ему про Ларису и подробнейшим образом – всё, что она говорила.

Арик очень жёстко сказал:

– При всём моём уважении к Ларисе она не права. Перестань плакать. Я люблю тебя. Быстрее прилетай. Я больше не могу, я умираю.

А до моего возвращения оставалось ещё три дня. И снова, сжав зубы, – в работу. Наконец самолёт. Но Минск не принимает. Мы делаем круг над городом, над тем домом, где меня ждёт Крупп, и снова ныряем в облака... Вдруг вижу внизу алый флаг, распластанный на ветру над Смольным – я чуть не завывала от горя – думала, что умру.

В Минск мы попали только на следующий день. Я волновалась, идя домой. В первый раз оставила одних – Динку и Арика – и думала: как там и что?.. Но, открыв дверь нашей комнаты, я застыла на пороге.

По каким деталям узнаётся, что в доме царит мир? Трудно сказать. Но то, что тут был счастливый мир – было ясно мгновенно. Под потолком появился стеклянный светильник. Посреди комнаты стоял уже готовый стол нормальной высоты для сохранения детской осанки. На полу лежала Динкина мечта – высокие белые ботинки для коньков, а на моём туалетном столике – новый огромный маникюрный прибор. Не знал мой любимый, что нельзя дарить ничего режущего – больно будет. Да и я на этой мысли не заиклилась – она лишь проскочила по краешку моего сознания...

Пришла из школы Динка, и я, кивнув на ботинки, бросила ей:

– Доканала Круппа?

– Нет! – просияла, как солнышко, Динка. – Арон Яковлевич сам повел меня в «Спорттовары» и сказал: «Выбирай!»

Ну а дальше снова было так, как не бывает в жизни. Такое можно увидеть только во сне. Посреди ночи Арик вдруг говорил:

– Хочу есть!

Я со смехом делала бутерброды с сыром «Нарочь» и холодный, сладкий, чёрный и крепкий, как цифирь, чай – мы трапезничали.

– Больше никогда один не поеду в Одессу. Я там чуть было не сошёл с ума.

– А в прошлом году всё было так хорошо...

– В прошлом году был Валя Вихорев и я был влюблён в Валю Кучерову. А в этом году я не был влюблён в Валю Кучерову и не было Вали Вихорева. Никуда больше без тебя не поеду... Да и здесь... Динка спасала. Знаешь, я всегда мечтал жениться на женщине с дочкой. Думал, буду в детский сад её водить. А пришлось вот ходить в школу...

– Ты что, в школе у неё был?

– А как же! Ведь конец полугодия... Родительское собрание... Классная, когда узнала, что я недавно стал отцом, объяснила мне, как важно проверять у детей домашнее задание.

– И ты проверял?

– Каждый день.

Я схватилась за голову: сама не совала носа в Динкины тетради и в школе была единственный раз – полтора года назад, когда принесла её документы. Я смотрела на Круппа с восторгом. А он:

– Если бы ты видела их «русалку»!

– Красивая?

Арик замотал головой:

– Потрясающая дура! Как она может в школе преподавать? А знаешь, как они зовут учителя пения?

Я покачала головой.

– Очень нежно: «пенник».

– Ты что, уже со всеми учителями познакомился?

– Конечно. Мне же интересно! – Глаза у Арика блестели, губы улыбались. И не было женщины счастливее меня.

Сейчас я понимаю, что эта фантастика *так* должна была кончиться. Такое не длится долго. Природе свойственно равновесие. Мы были слишком счастливы, и она наказала нас.

Шеф Круппа, Пайзу Исаев, появился в нашей комнате неожиданно. Он пришёл вместе с Ариком после работы – высокий, красивый, мужественный, лет тридцати пяти кавказский мужчина. Пришёл посмотреть на меня. Узнав, что Крупп женился, он задал единственный вопрос:

– А жена у тебя – не туристка?

– Нет. – Арик засмеялся.

– Пойдём к тебе. Я хочу в этом убедиться сам.

И пришёл. Убедился – и пригласил к себе в гости. Через пару дней мы вместе с Динкой сидели у Пайзу за гостеприимным столом. Жена, молодая милая горянка, и черноглазый малыш лет пяти. Пайзу забрал его вместе с матерью от первого мужа. Красивая, дружная, гармоничная семья. Хозяин потчевал нас каким-то вкусным блюдом из барашка, специально привезённого для этого случая с гор, и не менее вкусным домашним красным вином. Для мужчин стояла бутылка «Столичной».

– Выпьем за то, что жена твоя, Арик, не туристка. Теперь у меня есть союзник.

И Пайзу стал мне рассказывать, какой Крупп талантливый инженер. Я услышала уже знакомые мотивы:

– Делом пора заниматься. На что ты тратишь время? Походы, песенки, палатки... В аспирантуру надо поступать. Я уже был в институте и утвердил тезисы по нашей теме. Будем работать вместе. Для меня это будет диссертация, а для тебя – первый реферат.

Говоря это, Пайзу всё время поглядывал на меня, видимо, ожидая поддержки.

У Арика было очень грустное лицо, и мне стало его до боли жалко. Я представила, какую смертную тоску наводит на него одна мысль о диссертации. Знала, что одиннадцать месяцев в году он ждёт отпуска, чтобы уйти на Север – именно на Север, и никуда больше.

Это важно, где
и какой горе
сдать души недуги,
и куда бежать,
чтобы побеждать
годы и себя.

...

Тундра – ну что ей? –
Проживёт, а мне
надобно, хоть тресни,
чтоб хоть раз в году
мне в глаза взглянул
северный покой.

Знала, что всю рабочую неделю он ждёт пятницы, чтобы уйти в лес...

Вспомнила, как на вечере у Овсищера всё, что говорил сейчас Пайзу, я впервые услышала из уст его «городских друзей». Арик тогда во время танца сказал: «А другие ребята – те, которых ты видела в лесу, – говорят обратное: «Бросай, Арик, завод и становись профессиональным песенником». Но я инженер с того момента, когда впервые, в пятилетнем возрасте, взял в руки логарифмическую линейку. Это мой стержень». – Арик помолчал и вдруг признался, как нашкодивший школьник, что каждая новая написанная им песня, которая нравится ему и его друзьям,

радости и удовлетворения приносит ему больше, чем авторское свидетельство об изобретении.

«Не слушай никого. Живи как тебе хочется и пиши свои песни, мальчик», – думала я, сидя за столом и глядя на его седые виски.

Подняв хрустальную стопку с водкой, Арик переключил разговор на другую тему:

– Выпьем за вашего сына!

Выпили.

– Да, кстати, о сыне, – сказал Пайзу, – если вы думаете о ребёнке, с этим делом ... – он выразительно постучал вилкой по бутылке, – надо завязывать.

– Если у вас будет ребёнок, я уеду к бабушке, – вдруг прозвенел обиженный детский голос.

Все опешили.

– Можешь и уехать, – разрешила я.

Дина надула губы и отодвинула тарелку. Крупные слёзы катились у неё по щекам. Меня раздирали противоречивые чувства: я готова была её прибить, и в то же время её было ужасно жалко... Она встала из-за стола и вышла из комнаты.

– Не обращайтесь внимания, – поспешно сказал Пайзу, – она ведь ребёнок. Это пройдёт. Обычный приступ детского эгоизма. Так вот, о деторождении... У моих соседей сын в шестом классе учится: сегодня пришёл из школы – в штаны наложил. Папа пьёт. И всегда пил...

Мы с Круппом переглянулись. Я знала, что у Арика нет пристрастия к спиртному, но он был компанейский парень, очень добрый, и никогда не мог отказать друзьям. Рассказывая об Одессе, он, между прочим, обронил такую фразу: «Мы начали на берегу... Очнулся – в трениках на палубе».

И так все две недели – пели и пили. Вплоть до самолёта.

Эти два рассказа: Круппа – о возлияниях в Одессе, и Пайзу – о соседском мальчике – запали в меня и позже аукнулись, сыграв роковую роль в моей судьбе.

Арик встал, вышел вслед за Динкой и через несколько минут привёл её, ещё всхлипывающую, но умытую.

Новый год туристская братия встречала под Минском, в пионерском лагере в Крыжовке. Официально было объявлено о двух свадьбах: Круппа и Чуланова. Из Свердловска прилетела Ниночка. Это была странная новогодняя ночь – бесприютная и фантасмагорическая. В моей памяти осталось два эпизода. Первый заставил меня дрожать за жизнь Арика. Вдруг погас свет, и бросили клич: кто не боится напряжения 220? Нужно полезть на крышу и восстановить проводку. Конечно, вызвался Крупп – сказал, что он закалённый и электричество его не берёт. Всё сопровождалось смехом и прибаутками про молодую и горячий труп. Меня колотило. Я до сих пор не понимаю, как это делалось без резиновых перчаток, и была ли на самом деле опасность для жизни или это просто «чёрные» шутки, но в одном не сомневаюсь – Арик полез бы туда в любом случае. Второй эпизод – свадебный танец Чуланова. Весь вечер он обнимал Галю и всячески демонстрировал счастливую любовь – вот тогда я и увидела разницу между людьми, которые делают одно и то же, но один при этом забывает об окружающих, а другой помнит о них очень хорошо. Когда общее веселье стало выдыхаться, он выдал совершенно безумный, изощрённо–бесовский, виртуозно–изысканный и абсолютно современный танец. А рано утром встал на лыжи и ушёл. Один.

К утру у Дины поднялась температура, и мы с ней и Валентиной Николаевной уехали к нам домой. Валя всегда спасала меня, как «скорая помощь»: горчичники, чай из лечебных трав, компрессы, массаж – в отличие от меня,

она всё это делала ловко и умело. Ниночку Галя забрала до вечера к себе в общежитие.

Вечер был ностальгический, уютный и тёплый. Арик много пел – пел для Ниночки, которая не слышала его несколько лет.

Оставшись одни, мы втроём, на нашем широком ложе, проговорили чуть ли не до утра. «За Арьку я теперь спокойна», – сказала Ниночка, повернулась к стене и уснула. А на второй день наступившего нового года она улетала в Свердловск, и Арик уехал в аэропорт её провожать. Я осталась дома, чтобы дать им возможность поговорить наедине.

После праздников у нас с Галей продолжались съёмки: Гомель, Винница, Воскресенск, Джамбул, Навои, маленький литовский городок Кедайняй... После каждой командировки – небольшая передышка в Минске. По пальцам можно пересчитать дни, которые мне суждено было провести с Круппом. Динка говорила: «Мама, бросай свою работу. Тебе–то что – ты летаешь, а мы тут без тебя мучаемся». Как они с Ариком мучились, я знала из рассказов – их собственных и девочек–туристок. Арик таскал Динку за собой по всем туристским свадьбам и дням рождения, которые, конечно же, без него не обходились. И как только он собирался уходить домой – ребёнку пора уже спать – девочки ставили перед Динкой банку с вареньем и коварно подговаривали её ещё хоть немножко задержать Круппа, что она успешно и делала. Но когда Дина болела, он отпрашивался с работы и сидел над ней днями и вечерами, пока его не сменяла Валентина Николаевна. Он был ей и отцом, и матерью – немудрено, что она его так любила. Любила куда больше, чем меня. И если б была моя воля решать, кому из нас исчезнуть из этой жизни, а кому остаться с Динкой, я, не колеблясь и руководствуясь только её интересами, оставила бы с ней Арика. С ним она

была бы куда счастливее, чем со мной. Но, к сожалению, нам решать не дано.

Маленькие передышки между командировками – а сколько событий успело произойти за это время! Сейчас, вспоминая, я могу только удивляться, как все они втиснулись в те считанные дни. Счастливые дни! Уже в день моего приезда на нас обрушивались «лесные» друзья Арика. Как оказалось, они заранее его спрашивали: «Крупп, когда твоя жена приезжает? Мы в гости придём!» В такие вечера Арик просто шалел от радости. Я думаю, до появления нашей «мансарды» он носил в себе комплекс бездомья: за годы своей жизни в Минске он пользовался гостеприимством десятков любивших его людей, а самому пригласить их было некуда. Теперь он наслаждался тем, что они приходили к нам в гости. Не ошибусь, если скажу, что «лесных» ребят своих он любил больше всего на свете. Когда я выходила в коридор помыть посуду или выбросить мусор, он выходил следом за мной и восклицал:

– Какой я счастливый! Я самый счастливый человек!

И поздно ночью, проведив их, мы возвращались домой, а Крупп всё никак не мог успокоиться:

– Правда, они хорошие? Как я их люблю! Я их ужасно люблю... Вот когда у нас будет свой дом и мы сможем пригласить сразу много гостей... Представляешь, если в один вечер собрать сразу всех, кого я люблю, или хотя бы всех, у кого я ночевал в городе Минске... – остановился, подумал и покачал головой, – нет, даже нашей трёхкомнатной квартиры, если она у нас когда-нибудь будет, не хватит...

Я никогда не слышала, чтобы Арик о ком-нибудь говорил плохо. И никогда не замечала, чтобы он к кому-нибудь плохо относился. Это было удивительно, потому что у меня всегда были друзья и враги. У Арика врагов не было. И однажды я ему сказала:

– Послушай, ты, может, Христос? Неужели ты всех – абсолютно – любишь?

Он подумал и ответил:

– Знаешь, есть люди, которые мне... – он запнулся, подбирая слово, – ну... неприятны. Но я не считаю нужным тратить на них эмоции. Вот я вижу этого человека – ровно настолько, чтобы с ним поздороваться, – и мгновенно отключаюсь от него. Я просто перестаю его видеть. Это бывает очень редко. Но когда бывает, бывает вот так.

За эти же дни мы успели дважды побывать у знакомой Арика, Евы Львовны Мирской. Это была удивительная женщина – живописно–седая красавица лет пятидесяти, человек высокой культуры и того воспитания, какое сегодня уже редко где сыщешь, интеллигентная умница, преподававшая французский язык в минском инъязе – знала она его так, что о ней ходили легенды. Одну из них рассказала нам Лена Асиновская, подруга её дочери. Когда Ив Монтан с Симоной летели в Москву, самолёт из–за непогоды посадили в Вильнюсе, где Ева Львовна в ту пору преподавала в университете. В аэропорту не нашлось человека, владеющего французским языком, и позвонили в университет. Приехала Ева Львовна и обратилась со словами приветствия к залётным гостям на чистейшем парижском диалекте. Монтан удивлённо поднял брови и спросил:

– Мадам давно из Парижа?

У Евы Львовны было любимое хобби – французский шансон. Она собрала уникальную коллекцию пластинок и устраивала иногда домашние вечера для своих знакомых и друзей дочери: ставила на проигрыватель пластинку кого–нибудь из французских шансонье и тихо, ненавязчиво давала точнейший подстрочный перевод. Это позволяло вслушиваться в звуки французского языка, наслаждаться его красотой, интонациями автора, поющего свои песни, и при этом всё понимать – создавалась полная иллюзия того,

что ты знаешь язык. Это был кайф! Слушая Еву Львовну, я поняла, как уродуют у нас дубляжём зарубежные фильмы. Их надо переводить так, как Ева Львовна переводила французских шансонье. Это было бы такое счастье – слышать настоящий голос Анны Маньяни, Джульетты Мазины, Марчелло Мастрояни, Софи Лорен, Симоны Синьоре, Ива Монтана...

В тот вечер, когда мы с Ариком в первый раз в компании нескольких самых близких друзей приехали к Еве Львовне, она специально для Круппа устроила вечер Шарля Азнавура. Она считала, что Арик на него и внешне похож, и в песнях у них есть созвучные мотивы и мысли: о возрасте, быстротекучести времени, о смысле жизни...

И в эти же дни мы успели побывать у кого-то из туристских друзей Арика на свадьбе, у кого-то – на дне рождения, на нескольких концертах, в которых главным участником был Крупп. На одном из этих концертов, в День туриста, во Дворце профсоюзов, Арик пел свои последние песни, где он уже ушёл от туристской тематики, – это были посвящения друзьям, песни о возрасте, о любви, о философском осмыслении жизни. В антракте к нему подошёл некто Григорьев – из горкома комсомола, кажется, – и строгим тоном:

– Арик, я хотел с тобой поговорить: ты отходишь от тех прекрасных песен, которые ты писал вначале – «Леса Белоруссии», «Десять звёзд», «Ровесников следы»... – и пишешь непонятно что за песни... Ну что это такое – «Бабы нет законной»? Ты больше не пой такие вещи со сцены, – сказал он Арику и пошёл по своим начальственным делам, а в это время по лестнице поднимался наш старый, кадровый, потомственный турист, уже на пенсии, подвыпивший по случаю праздника, Юрий Михайлович Кокорев. Он услышал нравоучения комсомольского деятеля и остановился рядом с Круппом:

– Арик, не слушай ты этого мудака! – и похлопал его по плечу. – Ты иди! Иди! Иди своим путём. – Юрий Михайлович ушёл, окружённый весёлой компанией друзей, но я запомнила его, и жизнь судила мне ещё однажды с ним встретиться.

Кроме праздников, мероприятий, визитов, приёмов, дружеских встреч и прочего, что плотно заполняло нашу жизнь в эти дни, была ещё куча домашней работы, разной бытовухи, которая накапливалась за время моего отсутствия – когда я всё это успевала, сейчас могу только гадать. Поистине, любовь делает чудеса...

Мама моя, узнав из письма о перемене в моей жизни, прислала нам небольшую посылочку: клетчатый золотисто-зелёный плед в качестве свадебного подарка и два свитера собственной вязки – Арику и Динке. Арик радовался, как ребёнок. Меня всегда поражала его удивительная настроенность на радость. Ещё в начале нашего знакомства, помню, я обратила внимание на то, какие у него были грустные глаза. Я даже однажды спросила его: почему? Он улыбнулся, как улыбаются, когда слышат один и тот же вопрос в сотый раз, и привычно ответил:

– Просто форма глаз такая.

Позже этот короткий диалог я прочла в его повести, которую он написал ещё до знакомства со мной.

С тех пор как мы обрели свой дом, глаза Арика сияли – и никакая форма глаз не могла этому помешать. Он постоянно был настроен на волну радости, и ему надо было совсем немного, совсем чуть-чуть... Ну сущий пустяк нужен был, чтобы он ликовал от счастья. Вот была у него такая мечта – занять старый приёмник. Он считал, что самые лучшие приёмники – те, что сделаны до пятьдесят шестого года, – три марки: «Мир», «Фестиваль» и «Рига-10». После этого, говорил Арик, ничего интересного в радиотехнике не произошло. Но купить ни один из этих приёмников было невозможно: они давно были сняты с

производства и нигде не продавались, даже в комиссионных магазинах, – эти марки были списаны. И вот я случайно узнала, что у нашего осветителя где-то в подвале стоит старая «Рига–10», которая давно уже не работает. Тут же спросила Арика, нужен ли ему такой приёмник.

– Конечно, ну что ты!

Купила я этот агрегат за двадцатку и привезла домой. Боже мой! Нужно было видеть, как счастлив был Крупп. Он плясал вокруг этого ящика, поглаживал его ладонью, ну чуть ли не обнимал. Побежал в магазин, принёс огромный полиэтиленовый мешок с деталями, возился с ним вечерами после работы каждый день. И наконец ящик заработал! Мы поставили его рядом с изголовьем, у нашего ложа. На его прочной, как стол, поверхности обрела своё законное место моя настольная лампа с зелёным абажуром (отсюда – «...от непогашенной лампы...») – она вместе с книгами и прочим необходимым скарбом следовала за мной по параллелям и меридианам в багажном ящике малой скоростью.

Теперь Арик с увлечением крутил ручки новой игрушки, ловил разные станции, с наслаждением слушал джазовые передачи и приобщал меня к любимому искусству. Когда кто–нибудь к нам приходил, он, совершенно счастливый, показывал на своё чудо, и человек, который ничего не понимал, спрашивал:

– Ну и что?

– Как – ну и что? Подарок любимой женщины!

Он до такой степени был открыт радости, что достаточно было абсолютного пустяка – белой бумажной «водолазки», привезённой из командировки, или короткой стрижки, которую я творила ему в меру своих скромных парикмахерских способностей, – он обожал короткие стрижки у себя и у других, – чтобы он был счастлив. Когда однажды я после долгого перерыва сделала себе короткую

стрижку, он был наверху блаженства. Оказалось, что он всегда хотел жениться на женщине не только с дочкой, но и с короткой стрижкой «под мальчика». А Петька подтрунивал над ним:

– Ну признайся, Крупп, ведь ты сначала придумал свой идеал, написал его в повести, а потом и жену себе под него подобрал, чтобы мы все удивлялись, как тебе везёт?

Я же в ту пору ещё не читала никакой повести и не очень понимала, о чём это Петька...

На студии появилось объявление, что нужно платить первый взнос за кооператив. К этому времени откликнулись все мои друзья: прислали, кто сколько смог – от пятидесяти рублей до полутора сотен. Только «дамский угодник» Илюша Горелик, мой свердловский режиссёр, сумел подкинуть мне тысячу рублей. И всё–таки не хватало...

– Я скажу своим журналистам, – успокоил меня Арик, – даже если у них нет сбережений, они могут сброситься по двадцатке, и это нас выручит.

С работы он пришёл смущённый и сказал, не глядя на меня:

– Знаешь, с журналистами ничего не получилось, у них почему-то совсем нет денег... Но у нас ведь завтра аванс, так что всё будет в порядке. Сколько нам ещё не хватает?

А у меня был сюрприз:

– Мне дали сегодня вне очереди «чёрную кассу», так что не хватает нам всего сто пятьдесят рублей.

На следующий день на заводе у Арика его коллега Неля Корсакова положила шапку рядом с платёжной ведомостью и сказала:

– Круппу не хватает сто рублей на кооператив – бросайте, кто может!

К концу дня Арику вручили сто десять собранных рублей и список жертвователей для отдачи долга. Он добавил

своих сорок, и мы торжественно отнесли всю немислимую сумму в банк. Теперь мы знали, что у нас будет своя трёхкомнатная квартира.

Когда я поняла, что беременна, и посчитала дни, получалось, что произошло это, как только мы встретились с Ариком после его возвращения из Одессы. Я вспомнила рассказ Круппа об одесских возлияниях, а перед глазами стоял наложивший в штаны соседский мальчик Пайзу. Меня охватил ужас при мысли, кого я могу родить Круппу... Сказала Арику, что нужно делать аборт. Он не возражал: видно, нагнала на него страху. И тут же дал слово, что не возьмёт ни капли в рот, пока я не рожу ребёнка.

Много я делала ошибок. Но эта была самая страшная и непоправимая. Может быть, за неё меня Бог и покарал. Несу этот груз уже тридцать лет...

Страшна тьма неверия. Была бы вера, молилась бы все девять месяцев и знала бы, что у меня будет здоровый малыш.

Когда я уезжала в предпоследнюю командировку, в Джамбул и Навои, дочка вдруг просительно сказала мне:

– М–а–а–м, я хочу звать Арона Яковлевича папой...

Я пожалала плечами. Меня мучил токсикоз. Мне было так плохо, что я света белого не видела.

– Зови... Кто тебе не даёт?

Динка издала неопределённое мычание и, смущённая, убежала. Вот так у меня всегда – не умела быть хорошей матерью. Сейчас – могла бы, да поздно...

Из-за нелётной погоды мы не могли вылететь из Минска двое суток и уехали в Ташкент поездом, а оттуда – самолётом в Джамбул. В купе я увидела грустное лицо Гали. Я знала, что она живёт у Чуланова, в комнате, которую он уже получил. Но поговорить об этом в Минске у

нас не было времени. Чувствовала, что что-то неладно, но расспрашивать боялась. Теперь Галя рассказала сама.

Рассказ был грустный.

– А зачем он тебя забрал?

– Новоселье у него было в первый день. Бабы с работы, вишь ты, понаехали. Все хотели жену посмотреть, – грустно помолчала... – Накинулся на меня: зачем я матери по телефону сказала, что переехала к мужу? А я ему говорю: как же я могла промолчать? Она позвонит в общежитие, там девчонки скажут: «Галя замуж вышла» – она и свалится: мать у меня сердечница...

Я ничего не понимала. Ни утешить, ни объяснить...

Уезжая из Минска, я оставила Арику адрес джамбульской городской гостиницы, где наша группа должна была поселиться на время съёмок. Но случилось так, что мы остановились совсем в другой, ведомственной гостинице. Съёмки в заводских цехах по производству удобрений были тяжелейшими, работали с респираторами, заканчивали работу поздно, и я попросила моего директора Мишу Каминского ежедневно звонить дежурному в городскую гостиницу – узнавать, нет ли письма. Письма, как сказал Миша, не было. Позвонить самой мне не приходило в голову: я полностью доверяла своему директору – он никогда меня не подводил.

В первые же выходные ринулась во Фрунзе – повидать маму и сына. И было ещё одно деликатное дело: я надеялась у Динкиного отца получить согласие на её удочерение Ариком, который очень хотел этого. Я понимала, что шансов у меня было бы больше, будь Дина единственным ребёнком: родной отец мог бы на это пойти, чтобы не помогать материально. А так он всё равно не помогал дочери, потому что воспитывал сына – зачем же ему делать мне такой подарок? Что это было за границами его души, я знала. Рассчитывала на его жену, Ирину, и не

ошиблась – она заверила меня, что в самое ближайшее время «Юзик» оформит у нотариуса бумагу и вышлет мне.

За три месяца, что я не видела сына, он успел повзрослеть и удивлял меня неожиданно рассудительными высказываниями. Я рассказала ему об Арике, о том, что у нас скоро будет своя квартира.

– Уже вырыли котлован! – сказала я с гордостью.

– Но в котловане, мама, не живут... – заметил Вадим и улыбнулся мне, как маленькой.

Мы пошли с ним гулять, завернули в кафе, и тут я с удивлением узнала, что у него те же вкусы, что и у меня были в его возрасте, – он захотел мороженое с лимонадом и слоёные язычки. Напоследок мы посмотрели добротный итальянский фильм «Не промахнись, Асунта!».

Мама ещё больше постарела, но в глазах появился огонёк надежды – она радовалась за меня. И ни одного недоверчивого вопроса, ни одного сомнения. Как будто она знала, что Крупп предназначен мне судьбой.

Письма от Арика я так и не получила, зато написала ему сама.

Крупик!

Чего бы я не сделала сейчас, чтоб очутиться хоть на несколько минут рядом с тобой! Осточертела Азия и азиаты, впереди ещё Навои... а я хочу только к тебе.

В тот последний день, когда я писала тебе записку, которую положила в постель, самолёт снова не улетел – мы уехали поездом.

...Тут, в Джамбуле, была больница... Я почти заглянула за черту. Очень это было страшно. Когда попала из операционной в палату, потолок и стены – всё было тёмное. Это продолжалось минут десять, а потом всё посветлело на моих глазах – посветлело до голубизны. Я поняла, что уходит боль. Она, действительно, ушла. Так что, оказывается, это не

метафора, когда говорят: «потемнело в глазах», – это абсолютно точное выражение. Это даже можно снять в кино. Вот так мы делаем открытия. А десять лет назад я открыла для себя, что выражение «сжечь глаза слезами» – тоже не метафора. Я тогда сожгла себе глаза так, что дня два почти ничего не видела и долго ещё не могла читать. Наверное, это хорошо, что мы делаем такие открытия. А ведь могли бы прожить всю жизнь и этого не знать, а выражения эти воспринимать как пустые литературные штампы..

Когда всё посветлело – это было возвращение к жизни сначала сознанием, а потом и всем нутром. И сердцем.

А потом была поездка во Фрунзе на выходной и всё растущая с каждым днём, с каждым часом, тоска... Я уже ничего не хочу – только бы уткнуться в твоё плечо и так отключиться от всего мира, хоть на несколько минут... А вместе с тоской вырос страх. За тебя. Ведь моё состояние не могло не отразиться на тебе, не могло не нарушить чего-то. Я не знаю, сколько за это время я могла наговорить горьких слов и как ты со всем этим справился. Вот поэтому – и страх, и отчаянье, и чувство вины перед тобой... А в конечном итоге единственное желание – тебя хоть на несколько мгновений....

Мама меня поразила: называет тебя Ариком, как будто ты её сын уже сто лет. И всё хлопочет и беспокоится, и вяжет тебе носки в Саяны, и спрашивает, какой тебе свитер связать. Мы перебрали с ней несколько вариантов и остановились на чёрно-малиновом. Малиновые нитки (как мой берет) у неё есть, а чёрные я куплю и пришлю ей.

Она плакала, когда получила моё письмо, где я написала о «выступлении» Дины у Пайзу. Я уж никак не учла, что это её так расстроит, написала ей это с

единственной целью – чтобы она объяснила Дине, что та может не рассчитывать на её гостеприимство (Динка ведь заявила: «Уеду к бабушке»). И она сказала мне, что написала Динке огромное письмо, в котором высекла её. Как только я появилась у матери, первый её вопрос был: «Как Дина и Арик?» Я её успокоила, сколько могла. А мать твердила всё одно и то же: «А кто её спрашивает, чего она хочет, а чего – нет?!» Я даже не ожидала от неё такой бури в Динкин адрес. И тут она сказала мне, что с тех пор как получила это моё письмо, все ночи не спит и плачет по этому поводу. Такая резкая и безоговорочная любовь моей матери к тебе, которого она ни разу не видела и ничего о тебе не знает, меня несколько удивила, но сомнений в её полной искренности у меня, конечно, ни малейших нет. Я всегда предполагала, что она отнесётся к моему браку (если таковой случится) настороженно и с недоверием. А она так вот сразу, бесповоротно приняла, поверила и так истово полюбила тебя.

Я забрала из Фрунзе все десять томов «Детской энциклопедии» и три последних номера «Пионера» за прошлый год. Но, пожалуй, это не главный итог моей поездки. Совершенно неожиданно для себя я получила согласие на удочерение Динки. Так что, если когда-нибудь вы с ней оба этого захотите, вы будете иметь такую возможность. Динке я этого, разумеется, не пишу – считаю, что если надо будет, ты сам с ней об этом договоришься. Как я докатилась до этой мысли? И не только до этой, но и до другой: наверное, и нам с тобой следует расписаться. В те дни, когда мне было худо, всё время очень реальной была мысль о смерти. И мне вдруг стало страшно: если я загнусь, ты официально не будешь иметь никаких прав на квартиру. Поди потом, доказывай, что ты мой муж и что ты должен получить эту квартиру, чтобы жить там с Динкой. И на фиг нужно

кому-то что-то доказывать, когда можно иметь законные права? То же самое и с Динкой. Конечно, она уже достаточно большая, чтобы сама могла выбирать, с кем ей жить, но ведь могут прийти в действие и другие силы, а зачем нужно с ними вступать в борьбу, если можно обойтись без этого? Ведь если я загнусь, я не знаю, как поведёт себя моя мама. И будет ли она так же любить тебя, если ты захочешь снова жениться? Хватит ли у неё мудрости, чтобы отнестись к этому хорошо? А я хочу – пусть у тебя всё будет хорошо. И если я загнусь, пусть другая женщина, которую ты будешь любить, заменит мать нашему сыну и Динке. Пусть у вас будет хорошая семья, и я не хочу, чтобы кто-нибудь имел возможность вам помешать. Вот так-то я докатилась до мыслей таких. Можешь надо мной смеяться. Но в те дни я всё это очень остро пережила, и мне было не до смеха. И даже когда это состояние ушло, а с ним ушло и ощущение возможности близкого конца, эти мысли остались в моём сознании.

Почти всё время во Фрунзе (один день) я посвятила Вадику. Он за эти три месяца, что я его не видела, изменился поразительно. Очень вырос, лицо удлинилось, повзрослел, стал намного серьёзнее. Сдержан, тактичен. Чувствуется воспитание Ирины... Я сказала, что очень благодарна ей, а она сказала, что он неплохой мальчик. У него есть воспитание, которого – увы! – нет у Динки. И естественно: ни я, ни тем более бабушка ей этого дать не могли. Ну вот, уже поздно, и мне нужно заканчивать письмо, потому что завтра рано вставать – предстоит очень плотный съёмочный день. Очень тяжёлый день.

Я прощаюсь с тобой.

Я люблю тебя.

Я хочу к тебе.

Я ухожу спать с тобой.

*Мы должны вернуться в районе 17 февраля. Надя.
8.02.71.*

Это была самая долгая командировка. Первое, что спросил Арик, когда я оказалась дома:

- Ты получила мои письма?
- Нет... На гостиницу?
- Да.

Горестное чувство потери, как осколочное ранение, пронзило меня.

- Что ты писал?
- Ничего особенного...
- Нет, скажи. Мне это важно.

– Всё, что я там написал, можно было бы сказать одной фразой: «Ты нужна мне не потому, что с тобой лучше, а потому, что без тебя невозможно».

Вот тебе и Миша! Ну что ж, учиться никогда не поздно. Тогда я не знала, что через шесть лет Миша преподнесёт мне куда более важный урок. Я написала в джамбульскую гостиницу письмо с просьбой переслать почту, пришедшую на моё имя, и вложила адресованный конверт.

И в тот же день получила самый большой подарок от Круппа – он спел нам с Динкой три новые песни. Для меня это был ещё и глубоко личный подарок: вторая из них была обращена ко мне – со всеми внешними и внутренними приметами нашей жизни.

А ты уходишь, уезжаешь, улетаешь,
дела, дела...

Я так держу тебя в руках, а ты растаешь,
и ночь бела.

...

Весь мир в зиме, и дом осиротело
в снегу стоит...

Именно таким был наш дом, когда я возвращалась в него одна и знала, что там нет Круппа.
 ...Твои слова, твоё дыхание. Твои руки
 тёплым замком.
 И мне нисколечко не легче, что с разлукой
 я так знаком...

Арик сказал, что первую из этих песен – «Беларусь» – начал писать, как иронический ответ комсомольскому функционеру Григорьеву, который, как я уже рассказывала, упрекнул его в «отходе от хороших туристских песен». Первоначальное ироническое отношение к теме выдаёт одно только слово – «мешок». Какой же турист назовёт рюкзак «мешком»? Только обыватель, который и слова–то «рюкзак» не знает. Видно, с «кочки» зрения такого обывателя Арик и хотел написать песню о туристах, но его собственное нутро взяло верх, и песня получилась серьёзная, но и тут Крупп остался в своём новом качестве – его больше всего волновали человеческие связи людей друг с другом – дружба, любовь, верность, преданность...

Осень. Первый ледок. Птицы струсили –
 курс на Африку из Белоруссии.
 Мы ж не птицы, погодой ранимые,
 в нашей связке друзья и любимые.
 В нашей связке друзья и любимые,
 и разрезать нет силы самим её.
 А разрезать – и до смерти каяться.
 Все дороги – в кольцо замыкаются.

И наконец, третья песня оказалась самой пронзительной, самой прекрасной. Она вышла из любви, заставившей Арика переосмыслить всю его жизнь.

А люди не стареют, не стареют.
 О жизнь, ведь это правда, не стареют?
 С годами всё красивей и добрее,
 хоть жизнь их часто ранит, не щадит.
 И женщины красивы, и мужчины...
 О жизнь, ведь это правда, что мужчины
 и женщины красивы? А лучина –
 пока не догорит, не зачадит.
 И женщины красивы, и мужчины...

Когда Арик пел эту песню, он сиял и лучился. Он был такой счастливый!

К нам пришла Лена Асиновская. Она вместе с нами ходила в лес и часто бывала у нас дома. Ей, как и мне, очень понравилась эта последняя песня, и она всё просила Арика петь её снова и снова. Почему–то эту песню Арик всегда пел стоя. И однажды, спев строчку: «И женщины красивы, и мужчины...», он опустил гитару и сказал:

– Не могу дальше петь. Ничего не могу петь после этой строчки – это самое лучшее, что я написал до сих пор.

У меня эта песня, пока Арик был рядом и пел её, ассоциировалась с солнцем и светом – потом я поняла: это было оттого, что свет и солнце излучало его лицо. И только позже, когда я слушала её с плёнки, я вдруг услышала совсем другое:

Мы сеяли, и зеленеют всходы...
 Над ними бег свой остановят годы,
 И новый день к другим придёт с утра.
 Мы сеяли, и зеленеют всходы...

Песня оказалась пронзительно–грустной, пророческой, как, впрочем, последние песни у многих поэтов. Но тогда всего этого никто не услышал, тогда была только радость. Арик рассказал нам с Леной, что написал он её сразу после

разговора с Евой Львовной, у которой мы успели побывать второй раз перед моей командировкой в Джамбул – она устроила нам ещё один вечер французского шансона.

– Арик! – радостно воскликнула Лена, – так ты посвящаешь эту песню Еве Львовне?!

Арик смутился:

– Я бы никогда не решился этого сделать. Кто я такой, чтобы посвящать песню такому человеку, как Ева Львовна? Я бы не посмел...

– Да что ты, Арик! Ей будет приятно.

Так же случилось и с названием: песня как-то сама собой, без участия Круппа, назвалась «Зрелостью». Он не возражал.

В день моего приезда вечером неожиданно пришёл Чуланов. Арик спел ему все три песни, как не последнему ценителю, и ждал его мнения. Но Сашу, как мне показалось, интересовала только первая песня – «Беларусь», и он вынес своё резюме:

– Хорошая песня, только длинная. Но я это решаю просто – отсекаем последний куплет – и всё в порядке. Споёшь её для моей передачи.

Я не могла понять, шутит он или говорит серьёзно: ведь в последнем восьмистишии – именно его я выше и цитировала – весь смысл песни, ради него она была написана. Арик только улыбнулся – он, умница, никогда ни с кем не спорил, особенно если этот спор не имел никакого смысла.

Крупп куда-то вышел, и Чуланов, болезненно морщась, спросил меня:

– Зачем ты нашим бабам сказала про фиктивный брак? Я растерялась.

– Никому я не говорила, пока ты сам не объявил о своей женитьбе. А потом это уже не имело никакого значения.

– Это ты так думаешь. А у меня были неприятности...

– Какие неприятности? Они же все твои друзья.

Саша махнул рукой и заторопился уходить – отказался даже ужинать. Выглядел он неважно, чем–то был похож на собаку с поджатым хвостом. Я так ничего и не поняла. Для этого не хватало дополнительной информации, которая появилась гораздо позже.

Старшая сестра Арика, Дина, возвращаясь от родителей из Лиепай, оказалась у нас в гостях. Думаю, тут не обошлось без просьбы – заехать и посмотреть на меня. В одном из телефонных разговоров с мамой Арик сказал, что живёт с любимой женщиной и намерен построить свой дом.

Сестра Арика очень быстро всё поняла и чистосердечно призналась:

– Если бы хоть сотую долю вашей любви в мою семью – как я была бы счастлива...

Потом стала строить планы развода с мужем и переселения в Минск, чтобы жить рядом с нами, – одним словом, помечтала и успокоилась на среднем:

– По крайней мере, я знаю, что в Минске у меня есть дом, куда я всегда смогу приехать.

Мы обнялись, заверяя друг друга в том, что это именно так. «А жизнь нам всё дарит свои подарки...»

Дина с радостью вспоминала все волнения, связанные с концертом Арика в Николаеве, – того самого концерта, из-за которого мы с ним не встретились в Ленинграде. Было очевидно, что появления брата у неё в городе – самые светлые эпизоды её жизни. Среди прочего она повторила рассказ Арика со сцены о том, как он написал песню, посвящённую Чуланову. Ежегодно Чуланов устраивал концерт знакомых бардов по минскому телевидению – это, кажется, называлось «Встречей у голубого экрана». Ну, а после «Встречи», как водится, – грандиозная пьянка у

Саши дома. И вот на одном из таких застолий (скорее всего, это был 1969 год) он сказал:

– Эх, вы! Я каждый год устраиваю вам эти встречи, принимаю вас, как богов, и хоть бы одна свинья додумалась посвятить мне песню!

Я уже говорила, что некоторая грубость в выражениях была обычной для Саши Чуланова, это был его привычный стиль – так сказать, его языковой имидж. Он старательно, как теперь говорят, «косил» под своего рубаху–парня.

И тогда Арик, который тоже был на том застолье, подумал, что, поскольку он здесь из всех, пишущих песни, – единственный минчанин, значит, он и должен быть той «свиньёй», которая напишет эту песню». Так появилась песня с ласковым названием «Санька», посвящённая редактору Минского телевидения Саше Чуланову.

Рассказывала всё это Дина в присутствии Арика и, думаю, если б она допустила неточность в своём рассказе, он бы её непременно поправил – он всегда был предельно точен в фиксации человеческих отношений. И вообще, отношения между людьми для него всегда были очень важны. Может быть, всего важнее.

Пройдут месяцы, многое изменится. Чуланов будет рассказывать всем, кто не был знаком лично с Круппом, что Арик был его лучшим другом и посвятил ему лучшую свою песню.

Пройдёт ещё много месяцев. Я познакомлюсь с автором песен Владимиром Ланцбергом, он захочет поработать с записными книжками Арика, и я дам ему такую возможность. Он провозится с ними около двух лет и потом ещё не раз возьмёт их снова. И скажет по поводу песни «Санька»: «Если судить по черновикам, то ни одна песня не далась Арику так трудно, как эта».

Пока Арик был на работе, мы с его сестрой наговорились вволю, и я спросила у неё, прав ли её брат, считая, что родители никогда не примут нашего союза.

– Боюсь, что – да. И дело не в том, что ты не еврейка. Если бы это было не здесь, а в Израиле – женись хоть на француженке, им всё равно. Там любая жена – прибыль. А тут, они убеждены, от смешанных браков вырастают антисемиты.

Что я могла сказать? Ладно, поживём – увидим. Только подумала: сколько же люди должны были вынести, чтобы вот так...

Дина непременно хотела записать последние песни брата, которых у неё не было. У нас была старенькая «Нота», собранная в фанерном ящике одним из моих друзей в Свердловске. Что-то там однажды не ладилось, и Арик залез внутрь. Долго и с интересом рассматривал, а потом сказал:

– Эту «Ноту» сделал человек с гениальными мозгами. – Я была поражена: он попал в самую точку! А Арик продолжал рассматривать... – Но тут побывал и второй человек – полная противоположность первому.

Это меня уже окончательно добило.

— Откуда ты знаешь?

Арик засмеялся.

— Всё очень просто. Первый так нестандартно сделал некоторые моменты в схеме – ординарный ум никогда бы до этого не додумался. А вот эти два узла решены просто гениально.

– Да, ты прав: Боря Красненко, который делал эту «Ноту», – технический гений. Но откуда ты узнал про второго?

Я сама не сразу вспомнила: когда Бори рядом уже не было, «Ноту» чинил ассистент оператора из нашей съёмочной группы в Свердловске.

– Иди–ка сюда, посмотри... Твой гений – человек совершенно безалаберный. У него не хватало терпенья доводить до кондиции свои блистательные идеи, ему лень было спаять всё как следует, и он делал это кое–как – лишь бы побыстрее закончить. А теперь посмотри вот сюда. Видишь этот жгут? Смотри, какой он аккуратный, как здесь всё сделано скрупулёзно. Гений твой так бы не смог. Это уже другие руки и другие мозги. Взлётов здесь нет, но методичности и терпенья на десять гениев хватит.

Должна сказать, что подобными заключениями в самых различных ситуациях Арик поражал меня неоднократно. Как–то на вечеринке он обратил моё внимание на одну пару: они демонстрировали в танце любовь, самую малость – напоказ, но куда больше – для собственного удовольствия. И так целый вечер. По дороге домой он спросил меня:

– Как ты думаешь, какие отношения связывают этих двоих?

Я не смогла ничего ответить. Знала, что мужчина – однокашник Арика по институту, пришёл на день рождения к другу без жены, потому что она заболела. Женщина – одинокая. Все – старые друзья. Я мысленно перебирала все реальные варианты, но ни один из них не годился. И расписываясь в своей несостоятельности, я спросила:

– Ну ведь не любовники?

– Несостоявшиеся любовники! – засмеялся Арик. – Это особый кайф – знать, что это всегда возможно, в любой момент, но никогда не произойдёт.

Вот так! И зачем он пошёл в инженеры? Быть бы ему следователем, психологом...

Но вернёмся к нашей старенькой «Ноте» и к сестре Арика, Дине, которая непременно хотела увезти с собой плёнку с последними песнями брата. Сколько Арик ни уговаривал её подождать, пока он вернётся из похода, запишется и пришлёт ей качественную запись, Дина стояла

на своём. Арик записал ей, что она хотела, на нашей раздрызганной «Ноте», в том числе и три последние песни. Хвала женскому упрямству! Только благодаря ему эти три песни сегодня существуют.

У Арика был блокнот, куда он начисто переписывал свои песни. Это была единственная собственность, которую он никому не давал. Но Дина выпросила: «Я размножу, верну тебе блокнот и сделаю для тебя печатный экземпляр». Арик не смог отказать сестре. Он никому ни в чём не мог отказать.

Через несколько лет Лена Камбурова пришлёт мне самиздатовский вариант Джебрановского «Пророка», и там я прочту: «Никогда никому не отказывайте. Человек, сказавший «нет», остаётся в тупике». Арик не читал Халила Джебрана. Он таким родился.

Оставалась одна небольшая съёмка – в Кедайняе. Последняя! Всякий раз, уезжая из дома, я испытывала чувство невосполнимой потери. Однажды сказала Арику:

– Когда мы отдадим долги за квартиру, я уйду со студии – устроюсь куда–нибудь в библиотеку и буду каждый вечер дома.

Арик посмотрел на меня огромными удивлёнными глазами. Я и сама не знала, насколько серьёзно это сказала. Если бы я делала документальные фильмы, конечно, такая глупость не пришла бы мне в голову. Но то, чем я занималась в то время, не стоило разлук с любимым.

В Кедайняе Галя была замкнута и молчалива. В гостинице строчила стихи. Иногда читала их мне. Одно из них начиналось словами: «Постучалась в весну с чёрного хода – недозволенный приём...»

Я по–прежнему ничего не понимала в том, что у них происходит с Чулановым.

Дома меня ждал сюрприз. Радостный Арик тихо поведал мне:

– А Динка зовёт меня папой...

Я расхохоталась.

– Ну что ты смеёшься?

– Такая дылда – и «папа»!

– И ничего смешного. А мне приятно.

Это было второго марта. А третьего – у Динки день рожденья. Она пристала ко мне: хочу пригласить подруг и отметить. Я отмахнулась: не до этого сейчас... И увидела тревожные глаза Арика. Было, действительно, не до этого: через три дня Арик уходил в Саяны – нужно было всё перестирать, перегладить, починить, сшить маску для лица и многое–многое другое. Но тревожные глаза поколебали мою уверенность...

– Кажется, я не права. Мы ведь должны знать, с кем она дружит.

– Конечно. Я хотел тебе об этом сказать.

И мы устроили Динке день рожденья.

Мама Арика телеграммой просила его позвонить. Он пришёл после разговора расстроенный и грустный. На мой вопрос ответил:

– Не хочет, чтобы я шёл в Саяны.

– Почему? – удивилась я.

– Потому что это опасно.

Это прозвучало так, будто он говорил: переходить улицу тоже опасно – можно попасть под троллейбус. И я подумала: «Ну зачем мама его расстраивает? Всё равно ведь пойдёт». Когда мы познакомились, Арик уже бредил этим походом, только тогда был другой маршрут. Он собирался идти куда–то на Север, за Полярный круг. Но маршрут закрыли, он пару дней пометался в неопределённости и вдруг пришёл счастливый:

– Миша Корень берёт меня в Саяны!

Мы ещё успели сходить к Чуланову на маленький прощальный ужин, который они с Галкой устроили по поводу отъезда Круппа. Саша дал ему в Саяны свой пуховый спальник.

Дома Арик неожиданно сказал:

– Я понял, почему ещё у нас всё так хорошо: мы оба этого хотим. Мы оба намучились от бездомья и одиночества, скитались по общагам. Мы научились *ценить*. – Арик взял меня за плечи. – Я люблю тебя...

И не успела я опомниться, как очутилась у него на руках.

– Надорвёшься, сумасшедший!

А он смеялся. У меня было ощущение, что мысли о том, почему у нас всё так хорошо, пришли ему в голову не случайно после визита к Чуланову.

За день до отъезда он ещё забежал на киностудию – его пригласили туда что-то спеть, а вернувшись, воскликнул с детским восторгом:

– Ваш Вежневек – гений! Он из меня просто Визбора сделал! Я сам себя не узнал.

Все два дня я аврально собирала Арика в поход. Я заболела, у меня был грипп, но он не замечал – сам приходил из турклуба поздно, уставший, озабоченный, углублённый во что-то, уже невидимое мне. Он был уже *там*. Я не пыталась вернуть его сюда. Я изо всех сил старалась выдержать, не свалиться. Он запомнил меня «грустной и усталой», о чём написал в своём единственном письме из Саян.

Накануне отъезда он рассказал про парня, которому не повезло:

– Представляешь, человек всю жизнь хотел в Саяны – и пришлось остаться. Заболела тёща... Вот уж, если не повезёт, то не повезёт.

Шестого марта они уходили. До Москвы ехали поездом. Арик должен был забежать домой за трантами – и на вокзал. Я, естественно, ехала его провожать. А Динка, закинув за плечо ботинки с коньками – бесценный крупповский подарок – намылилась на каток. Пыталась её образумить. Безуспешно.

– Нет, я обещала. Меня ждут. Ты же сама учила, что нельзя нарушать слово.

– Это не тот случай, Дина.

Арик не обиделся.

– Ничего страшного. Я напишу ей записку. – Он взял лист бумаги.

Диночка!

Я уезжаю. До свиданья, будь хорошей девочкой, слушайся маму. Ты же знаешь, что ей сейчас трудно на работе. Я приеду в апреле, 10–12 числа, к тому времени здесь уже будет весна в разгаре. Не забывай про занятия в бассейне (и про школьные тоже). Поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Целую. Папа. 6 марта 1971 г.

На вокзальном перроне было ветрено, холодно и пустынно. А у нашего вагона – толпа. Как всегда на проводах, много шутили и зубоскалили. Это считалось хорошим тоном, когда провожали в трудную и дальнюю дорогу. Из вагона принесли расчехлённую гитару. Арик взял её нежно, погладил ладонью струны, будто спросил, не холодно ли им, и спел «отходную». Тут у кого-то появилась бутылка шампанского. Её открыли и пустили вкруговую – по глотку. Последний достался Круппу. Он выпил его, высоко запрокинув голову, и бережно поставил бутылку на обледенелый асфальт. Улыбнулся озорно и радостно, совсем по-мальчишески, в одно мгновение

опрокинулся навзничь рядом с бутылкой и, глядя в чёрное звёздное небо, изо всех сил ударил рукой по струнам:

Вот и всё: заправлены моторы,
вручена пятёрка за багаж,
впереди лежит тот край, который,
если взял, то сразу не отдашь...

Его любимый Визбор. Потом прощались. Я еле держалась на ногах. Арик вскочил на подножку вагона, когда поезд уже медленно плыл в сторону Москвы.

Как добралась домой и провалялась два дня, помню плохо. Кроме гриппа, было что-то другое. Это состояние Арик описал в своей повести: так чувствовал себя Костя, когда проводил в горы жену Таню – она уже не вернулась. Он назвал это предчувствием беды.

Из Саян мы с Динкой получили от Арика единственное письмо. В Верхней Гутаре, куда они прилетели маленьким самолётиком из Нижне-Удинска (а туда – из Иркутска), в последний вечер перед маршрутом все писали письма домой. На конверте в левом верхнем углу Арик нарисовал самолётик, явно устремившийся на посадку, а края конверта оформил параллельными косыми чёрточками, каким и полагалось быть на конверте «авиа». Письмо написано шариковой ручкой с красной пастой на трёх небольших листочках из записной книжки. Вот оно, без купюр – от начала до конца.

11 марта.

Родная моя, здравствуй! Вот мы и добрались до начала маршрута, сидим в Верхней Гутаре, завтра утром придут олени. Загрузимся и – в путь. Погода в долине прекрасная: безоблачно, безветренно, снега в этом году выпало очень мало, это сводит почти к нулю

лавинную опасность и облегчит нам путь, так как легче будет бить лыжню. Настроение у нас бодрое, надеемся пройти маршрут на 1–2 дня раньше, чем планировали.

Всё время думаю о тебе, в этот раз разлука иного характера: я привык уже к твоим отъездам, а теперь уехал сам, и сроки стали больше. А в эту ночь сон приснился плохой: ты уходила. Потом я подумал, что, может быть, дело в том, что в последние дни я ни разу не услышал от тебя, что ты меня любишь, отсюда и подсознательная тревога.

А я люблю тебя. А сейчас всё это особенно остро потому, что я сам выбрал разлуку, но это действительно мне нужно, это уже во мне, и ты тоже во мне, и сейчас такая располовиненность: я чувствую себя дома, как будто нормальная жизнь в городе – это кроме шуток – между походами, а теперь опять я на месте, а с другой стороны, так хочется видеть тебя, и тянет к тебе, иногда просто физически вспоминаю твою голову на плече у меня, а это всего лишь 5560 километров расстояния. А потом будет ещё больше. Я знаю: всё будет хорошо, ты только думай обо мне, я скоро вернусь. А я тебя вижу такой, какой ты была в последний день: грустной и предельно усталой. Надя, Надя, как ты далеко сейчас, я очень хочу тебя обнять, я люблю тебя. Всё время тянет задать тебе в письме вопросы: как живёте, как дела, как движется фильм, а потом соображаю, что некуда тебе писать, впрочем, я не очень уверен, что ты получишь моё письмо намного раньше моего возвращения. Чёрт его знает, как тут ходят письма...

Ты знаешь, Надя, здесь очень красиво, я целый день мысленно водил тебя по этой долине и рассказывал про горы, которые здесь стоят со всех сторон, это, во всяком случае, не хуже, чем в Бакуриани. Кстати, о Бакуриани: я сейчас вспоминаю поездку туда, как дурной

сон. Мне эта смесь гор с цивилизацией совсем не нужна была, я там был очень не на месте и очень это чувствовал, но за год забыл, а сейчас, попав на место, опять почувствовал: нельзя садиться не в свои сани, от этого становишься только хуже.

Если бы я смог написать тебе письмо с маршрута, совсем свежие ощущения, но это невозможно. А завтра мы выходим. «С утра подъём, с утра...»

Как вы там живёте? Наденька, милая, я уже так тоскую по тебе, а что же будет дальше? Хотя на маршруте, может быть, нагрузка и усталость притупят остальные эмоции.

Ведь самая большая ценность похода в том, что через несколько дней после окончания ты вдруг замечаешь, что стал чуть другим, чуть лучше, чем был раньше, чем-то чуть богаче. А как происходит этот процесс, не замечаешь.

Ну вот и всё, Наденька, до встречи, обнимаю тебя, целую крепко. Сейчас будет последняя ночь в доме. Ночью я опять увижу тебя. Всегда твой Крупп.

На отдельном листке – письмо Динке.

Диночка, здравствуй! Пишу тебе из Восточной Сибири. Здесь горы, снег и настоящая тайга, растут ели, сосны, берёзы, кедры, но больше всего лиственницы. Село называется Верхняя Гутара, живёт здесь очень маленькая народность: тофалары, их всего 600 человек, но они имеют свой язык, а столицей у них является это село – Верхняя Гутара. Когда приеду, расскажу подробнее обо всём. Постараюсь привезти тебе кедровых орехов, здесь они, кажется, есть. У тебя, наверное, скоро каникулы будут, отдыхай хорошо.

Ещё очень прошу тебя, Диночка, слушайся маму, не ссорьтесь. Я приеду примерно 10 апреля. Папа.

Ниже, на остатке странички, Арик нарисовал крохотные домишки на фоне гор и идущий на посадку маленький самолётик. На переднем плане – фигурка человека рядом с оленем. А внизу подпись: «*Примерно так выглядит В. Гутара*». Кто-то из туристов, увидев через несколько лет этот рисунок у Ланцберга, не прочтя ещё подпись, воскликнул:

- Смотри-ка – Верхняя Гутара!
- Откуда ты знаешь? – удивился Ланцберг.
- Больше нигде самолёты не садятся прямо на улицу – только в Верхней Гутаре.

Хоть Арик и полагал безнадёжным делом пытаться наладить мои отношения со своими родителями, я всё же считала своим долгом поздравить его маму с днём 8 марта. Это был искренний порыв, потому что я очень хорошо сознавала, что ей обязана всем. В тот день, когда Арик говорил с ней по телефону, ничего не сказав ему, я отправила коробку печенья и поздравительную открытку. Писала, что до конца жизни мне с ней не расплатиться за Арика. В ответ, когда Крупп был уже в походе, получила два письма в одном конверте – от отца и от матери. Читала и плакала. А мама Арика в больнице плакала над моей открыткой. Папа прислал вполне мужское письмо, но я плакала и над ним.

«Дорогая Надя. Благодарю за привет. Если при личной встрече Вы произведёте такое же впечатление, как Ваше умное, прямое и вместе с тем тактичное письмо, то опасаясь, что и мы, в свою очередь, окажемся перед Вами в долгу (за Арика). Впрочем, мы всегда охотно платим свои долги. Было бы за что... Всего доброго.

15 марта 1971 Яков Самуилович

Они приглашали нас в гости. У Арика после похода оставалось ещё дней десять отгулов – он должен был поехать к родителям. Теперь, я знала, мы поедем вместе. Это для него был такой подарок, о каком он и мечтать не мог. Родители хотели устроить нам свадьбу. Исполнялось сорок лет их совместной жизни и семьдесят лет – отцу. Они хотели отпраздновать всё вместе.

На обратном пути Арик собирался на один день залететь к Ниночке в Свердловск, и я написала туда письмо, чтобы порадовать его. И ещё я писала ему, что жизнь без него – только ожидание жизни. Так оно и было, хотя я вся была в работе – на студии и дома. Где-то раздобыла широкий пружинный матрас, заказала в столярном цехе для него ножки и сама их прибила, соорудив настоящую тахту. Но всё делала машинально и ходила счастливая, в предчувствии скорого возвращения Круппа. Ни одной плохой мысли, – я ведь ничего не знала ни о каких возможных опасностях. Я думала – прогулка на лыжах. Позже поняла, что Арик специально держал меня в счастливом неведении, чтобы я попусту не волновалась – он-то был уверен, что с ним ничего не случится.

Однажды поздно вечером, в конце марта, разыгралась непогода. Ветер выл за окнами, вибрировала жёсть на крыше, охапки снега ударялись в стекло. Казалось, что ветер гуляет по комнате. Диночка спала, Галя собиралась уходить. Мне было не по себе.

– Слышишь, – сказала я ей, – неспроста это. Что делается с погодой! Лютует... Где-то сейчас происходит что-то страшное...

Нет, я не думала в этот момент о них. Даже подсознательно я никогда не связывала их с образом беды: не была человеком, искушённым в туризме, не понимала, что такое зимний поход пятой категории сложности, не представляла, что такое лавины, и уж тем паче – саянские

лавины. Просто я сказала то, что ощущала в тот момент. Это был лишь момент, который неожиданно ворвался в моё сознание, заставил меня съёжиться в комочек, забиться в угол тахты и так сидеть, уткнувшись подбородком в коленки.

– Не дрейфь! Всё будет хорошо. Мы ещё погуляем, – сказала Галя и ушла.

Как я ждала его, одному Богу известно! Мы с Диночкой привели в полный порядок всю его одежду. Костюмы починили и отдали в химчистку – теперь всё висело как новенькое в ожидании хозяина. На его гвоздь рядом с умывальником повесили чистое полотенце. Сварили его любимую фасоль. Даже мысли плохой не было.

И вдруг пришли ребята.

– А где Крупп? Параллельная группа уже вернулась...

Увидели наши растерянные лица – и исчезли.

Я побежала звонить в Совет по туризму – недалеко от дома был телефон–автомат. Ответил женский голос. Я поздоровалась и спросила, когда вернётся вторая саянская группа. На другом конце провода почему–то молчали. Меня тревожно кольнуло.

– Это жена Арика Круппа. Почему вы молчите?

– Вы можете приехать к нам? Приезжайте...

– Что случилось? Что? Скажите мне правду... Что случилось?

– Они потерялись, Надя. Их ищут. Мобилизована воинская часть с вертолётom. Вылетели наши спасатели–альпинисты...

Глыба беды, огромная, чёрная, обрушилась на меня, я ухнула вместе с ней в бездну и мгновенно – не поняла, а почувствовала, ощутила, что всё кончено...

– Их не найдут! Их не найдут! Их не найдут!.. – кричала я не человеческим – звериным голосом.

Хорошо, что Динки не было дома и первого моего неутешного горя никто не видел. Это было двенадцатого

апреля. Плохо помню, как прошли первые дни. Я почему-то боялась ехать в Совет по туризму. Когда звонила туда, женский голос горячо уговаривал меня приехать. Но я не понимала – зачем? Если Арика там нет, что они мне могут сказать? Всё, что могли, сказали по телефону: вертолёт облетел маршрут – людей нигде нет. Нашли поваленную палатку – их шатровую палатку – перед выходом на Пихтовый перевал. В ста пятидесяти метрах от неё в сторону перевала торчала воткнутая в снег лыжа. И где-то в тайнике отыскали записку непонятного содержания, подписанную двумя членами группы. Всё это порождало ощущение тайны, было похоже на детектив и, естественно, дало толчок моей фантазии, которая могла стремиться только в одном направлении – том, которое помогало выжить. После первой страшной полосы – она была равнозначна смерти – вдруг в сознании стал проклёвываться крошечный фантастический росток надежды: мне представилось, что их унесли летающие тарелки. Я была абсолютно в здравом уме, никакого «сдвига по фазе», как думали некоторые, с кем я имела неосторожность делиться своей надеждой, у меня не было. Просто без этой версии я не смогла бы выжить. Удивительная вещь – наш организм: сознание подбрасывает идею, которая спасает в самый опасный момент психику, а она, устояв, уже начнёт вытаскивать эмоциональный аппарат и всё прочее. В реальности летающих тарелок я не сомневалась. Вот это меня и спасло.

Но в самую чёрную полосу я успела написать два коротких письма: маме и Ниночке. Дальше Ниночка следила за событиями сама: звонила в Совет по туризму, Чуланову... А вот мама... мама, кроме меня, не имела никаких источников информации. Я вдруг испугалась за неё и дала телеграмму: «Не верь моему письму. Их ищут. Их найдут». О летающих тарелках сообщать ей в телеграмме

не решилась: она бы меня не поняла. Телеграмму мама получила раньше письма, и первая её мысль была – о Дине. Письмо всё разъяснило. Материнское сердце сработало точно и чётко: мама собрала вещички, взяла билет на поезд до Минска и двинулась из Киргизии через Аральские степи и Волгу в сторону Белоруссии.

Динка, к счастью или нет, не понимала, насколько всё происходящее серьёзно. Она успокаивала меня:

– Да вернётся твой Крупп, вернётся! Куда он денется?

Галя вела себя так, будто в самом деле не сомневалась, что всё закончится хорошо. Валентина Николаевна больше помалкивала, но была очень внимательна и добра ко мне. Всё своё свободное время она проводила у меня. Только один Чуланов говорил:

– На маршрут не надейтесь – только на чудо...

Он был опытный турист и раньше других всё понял.

Вдруг я осознала, что у нас дома нет ни одной плёнки с записью песен Арика. Я позвонила Чуланову, и он отвёл меня на Радио в фонотеку, попросив девочку переписать мне всё, что там есть. Девочка переписала. Но, к сожалению, там оказалось всего десятка полтора песен Арика и несколько песен других авторов в его исполнении. Ах, как жалко: тут ведь могла бы быть хорошая запись всех его песен... Не случайно ещё долгие годы витала легенда, что у Чуланова есть полная студийная запись Круппа. Эта легенда не могла не возникнуть: просто никому в голову не могло прийти, что Саша, будучи в приятельских отношениях с Круппом и имея возможность в студийных условиях записать его полностью, не сделал этого. Но я знала, что это именно так: он записал только то, что могло ему понадобиться для передачи.

Выручил кто-то из «лесных» ребят, писавших Круппа, – дал мне скопировать свою любительскую плёночку.

Ещё на нашем новоселье Игорь Коваленко сказал:

– Вот вернётся Арик из Саян с бородой... – Увидев мой удивлённый взгляд, спросил: – ты никогда не видела Круппа с бородой?

– Нет.

– Я принесу тебе. У меня целая плёнка.

И теперь он принёс и выложил передо мной целый ряд фотографий бородатого Круппа: Крупп серьёзный, Крупп смеётся, Крупп с сигаретой, Крупп с книгой, Крупп в анфас, Крупп в профиль – и все с бородой. С одной из этих фотографий никогда не расстанусь...

На студии я заканчивала монтаж заказного «боевика» о производстве двойного суперфосфата, а Галя уже снимала новый фильм и в Минске была лишь в коротких передышках между съёмками. Однажды она пришла к нам домой с целым пакетом фотографий, сделанных на осеннем туристском слёте под Ленинградом, куда Арик успел съездить в октябре в составе белорусской делегации. Галя в это время была в командировке в Ленинграде, навестила там Круппа и отщёлкала целую плёнку, а теперь – у Чуланова дома была фотолаборатория – наконец напечатала её. Там было много отличных снимков, на которых среди наших туристов были с гитарами Арик и Слава Пирог. Фотографии ушли нарасхват: кое-что я оставила себе, а остальные Галя раздарила всем, кто заходил к нам, сказав мне: «Я ещё напечатаю». Но – не пришлось: плёнка бесследно исчезла из лаборатории, куда никто не имел доступа, кроме Гали и Чуланова. На её вопрос он ответил, что ничего даже не видел. Это был первый «звонок».

Галя пришла через пару дней. С чемоданом. Сказала: «Я больше не могу», – бессильно покачала головой и понуро уставилась в пол.

Мы стали жить вместе.

Поиски в Саянах продолжались. Через двадцать дней на смену первой группе спасателей улетела вторая. Я порёвывала ночами: надежды с каждым днём таяли. Идея с летающими тарелками выцвела и больше не утешала. Помогало то, что Галя и Валентина Николаевна были всё время рядом, они частично заполняли то пространство, которое без Арика зияло холодной пустотой.

Как только я узнала, что ребята потерялись, позвонила на завод Неле Корсаковой и сказала, что хотела бы вернуть ей сто десять рублей, которые собрали, когда нам не хватало на кооператив, – Арик просил меня это сделать сразу после зарплаты, не дожидаясь его возвращения. Неля ответила: «Не срочно. Вот Арька вернётся – сам и отдаст». Теперь я позвонила вторично. Мы договорились встретиться у проходной. Я отдала конверт с деньгами и списком, который мне оставил Арик. Тут же были несколько человек, которых я знала по воскресным походам, – по их лицам я поняла, что все они давно всё поняли и приняли, как неизбежность, в которой ничего не изменишь. На меня они старались не смотреть.

Пришло письмо от Ниночки – ответ на мою самую первую реакцию. Она высекла меня за потерю веры, за неумение прятать свои эмоции. Эта тонкая, хрупкая женщина оказалась куда сильнее меня. Вот строки из её письма.

Перечитываю сотый раз твоё письмо и вижу в нём тебя, ту, которую я знаю. Я верю сто пятьдесят тысяч раз, что ты иначе не можешь, но, Надя, так нельзя!

...Неужели за то время, что вы были вместе с Ариком до похода, не произошло диффузии между вами, ведь он же сильный человек.

...В своё время мы сидели в болоте по горло – семь человек с рюкзаками – оставался сантиметр, чтобы

захлебнуться, так быстро нас засасывало, и всех спас Арик.

Я не собираюсь тебя утешать, и никто не придумывает сказок, нужно взять себя в руки, как бы трудно ни было, и ждать, и верить. Мне очень трудно сейчас писать... но заставляю себя верить и держаться. А ты, Надюша, должна это делать, хотя бы ради Динки, чтоб не она тебя утешала, а ты её. Ведь психику детского организма подорвать недолго. Ещё раз умоляю тебя взять себя в руки, верить и ждать.

Галушке большой привет и спасибо, что она около тебя... Как бы я хотела сейчас быть с вами, но до отпуска это исключено.

24.04.71.

Этот мотив – хочу к вам, но не могу... – пройдёт через все последующие письма Ниночки, как мечта трёх чеховских сестёр: «В Москву! В Москву!», которой не суждено сбыться. Причина была очень банальна: беспросветное нищенство. Уехать куда-либо можно было, только получив отпускные. А у Ниночки на отпуск всегда был один маршрут – в Петрозаводске её ждала больная мама. Если в будущем мне и удавалось ей иногда чуть-чуть помогать, то Ниночке приходилось затыкать куда более насущные дырки – покупать пальто взамен холодного плаща или ботинки, спасая ноги от мокрой осенней хляби, – не до поездок было.

Приехала мама. Нас стало четверо.

Однажды открылась дверь, и в комнату вошли журналистки из компании «городских друзей» – Тамара Реутович и Светлана Климович. Они сказали, что хотят сделать попытку издать сборник Арика и пришли за блокнотом, куда он начисто переписывал свои песни. Мы обыскали всю комнату, посмотрели на полках, перебрали

все его бумаги, но ничего не нашли. Я тогда так и не вспомнила, что Арик отдал свой блокнот со стихами сестре.

Теперь каждый день после работы я приходила в Совет по туризму. Женщины, ждущие своих мужей, устроили добровольную вахту у телетайпа, куда приходили вести из Саян. Как по-разному они себя вели! Одни были раздавлены горем и не пытались этого скрыть, принимая, однако, свой жребий с терпением и покорностью. Другие с раздражением искали виновных, третьи жили надеждой, четвёртые понимали, что чудес не бывает, но несли свою судьбу мужественно и ещё подбадривали других.

Тут я познакомилась с человеком, который сыграл очень существенную роль в моей минской жизни. Её звали Эльвира Ефимовна Корнеева, или попросту – Ляля. Она была красива той красотой, которую не назовёшь писаной и не сразу заметишь, но увидев, уже не оторвёшь глаз. Что-то библейское было в её лице. Весь облик выражал сдержанность, достоинство и глубокое благородство. Её муж, Игорь Корнеев, – самый старший по возрасту из затерявшейся в Саянах туристской группы: ему – сорок один. Ляля притягивала к себе. Глядя на неё, легче было справиться с бедой, в которую мы все попали. Ей, единственной в этой комнате, я сказала про летающие тарелки, когда ещё очень в них верила. С работы я могла звонить в Совет по туризму и узнавать новости, но приезжала туда, чтобы посмотреть на Лялю – так мне легче было жить дальше.

Первая группа спасателей, ведя поиски, не могла приблизиться к месту, где торчала воткнутая в снег лыжа – там всё ещё сходили лавины. Вторая смена, проверяя щупами толщину снега, всё ближе подходила к роковому месту. В последний день вахты, когда уже прилетела третья смена, тринадцатого апреля, откопали первых троих – первые три похоронки принёс телетайп. Раскопки шли

уже вокруг лыжи. Вторая смена осталась помогать третьей. Над нашими мальчиками был двенадцатиметровый слой снега. Три дня их извлекали на поверхность. Четырнадцатого, в пятницу, к вечеру, я позвонила из автомата – меня попросили приехать. Тупо повесила на крючок телефонную трубку, медленно дошла до дома, поднялась на второй этаж, сказала Дине:

– Поехали в Совет... Вызывают.

Она не проронила ни слова, подошла, взяла меня за руку, и мы пошли на автобус. Так, не расцепляя рук, мы вошли в знакомую комнату. Там было всего два человека: одна из наших старых туристок, Валя Чурак, и Инна Иосифовна, инспектор Совета, молодая красивая женщина, на которую свалилась доля заниматься нашей бедой. Она поднялась нам навстречу. Мы застыли посреди комнаты, не в силах сделать больше ни шагу. Почти беззвучно – голос куда-то пропал – я спросила:

– Нашли?

– Да. Сегодня откопали Круппа.

Я невольно прижала к себе Дину. До неё, как видно, не сразу дошёл смысл сказанного, но вдруг она закричала, забилась у меня в руках. Подошла Валя Чурак, обняла её и увела в коридор. И долго ещё было слышно, как рыдала Дина, и по высоким гулким коридорам Совпрофа раздавалось надрывное: «Папа, папочка–а–а!.. Папочка мой, папа–а–а...»

Я стояла мёртвая... И пустая. Всё иссякло, откричалось, отревелось долгими ночами. Динкин крик разрывал мне душу, но не вывел из оцепенения. Я чувствовала, как слёзы катятся по щекам, и не могла поднять руку, чтобы их смахнуть. А Динка всё кричала – то было беспомощное отчаянье взрослого ребёнка, потерявшего не родного отца, который всегда был, а вымечтанного за годы безотцовщины, полученного как награду, как немыслимую легенду, и теперь так несправедливо отнятого навсегда.

– Надя, вы с Ариком зарегистрированы? – Я не сразу поняла вопрос, а поняв, отрицательно покачала головой. – Жаль. А то мы могли бы дать вам квартиру...

Пока шли поиски, сестра Арика, Дина, находилась постоянно на связи с Советом по туризму и обо всём информировала родителей. Теперь они приехали. Я увидела их, маленьких, невесомых, седых, убитых горем, когда они поднимались по узкой лестничке к нам на второй этаж. Они были такие крохотные, что я обняла их сразу двоих, как одного человека...

Не зная, известно ли Пайзу о том, что случилось с саянской группой, я позвонила ему в субботу домой – телефон не отвечал. В воскресенье – никого. В понедельник дозвонилась на работу – оказалось, что жена с сыном гостят у родителей, а он только что приехал из командировки и только что всё узнал. Попросил подъехать к нему домой. Ушёл с завода и ждал меня в той самой комнате, где мы однажды провели такой тёплый вечер. Поставил на низкий столик три стопки и разлил водку.

Мне, никогда не бравшей водку в рот, тут было совершенно всё равно. Пайзу долго молчал. Потом взял рюмку:

– Давай...

Опрокинул. Я сделала то же. Он посмотрел на третью рюмку.

– И за него выпьем.

Выпил. Я сдерживалась изо всех сил, но слёзы катились...

— Нельзя. Не плачь. Он был весёлый человек, и вспоминать его надо таким – весёлым. Не смей плакать! И помни, что он очень–очень любил вас с Динкой. Помни. Никогда этого не забывай.

Долго сидел молча, обхватив голову руками. И вдруг – прорвалось... Он стал вспоминать Арика: как тот иногда

ночевал у него – Пайзу ещё жил без жены, один в этой комнате, – как любил копаться в его книгах, как они вместе мечтали перевернуть горы, как ему каждый раз не хотелось отпускать его в поход. Он был его начальником и, конечно, каждый раз мог его не пустить. Но Арик... брал гитару и пел ему целую кучу всяких песен – про зиму, про горы, про пургу и про Север, и про походы...

– И до такой степени, бывало, задурит мне голову, так вскружит, что я махал рукой: «Чёрт с тобой, иди! Иди на свой Север, раз ты без этого жить не можешь». Я хотел, чтоб ему было хорошо. Уже всё – работа и всё – пускай катится, лишь бы только тебе было хорошо. Ты хочешь – иди!

И ещё он рассказывал о том, какой Арик был инженер.

– Будь на то моя воля, я бы сказал Круппу: «Полгода работаешь, а полгода – отдыхай!», потому что он делал в четыре раза больше, чем все эти олухи, которые работают у нас. Я без него осиротел... Осиротел я без него! Боже мой, что я буду теперь делать без него один?

Прилетела из Николаева сестра Арика с мужем. Я даже не поняла, как и когда их забрали к себе на жительство журналисты. Была рада, что хоть родители остались со мной.

Из Саян пришло сообщение: откопали восемь человек, не нашли одного – Игоря Корнеева. Его искали, но тщетно. Сразу возникла версия, что он остался жив. Кто-то ведь отметил место их гибели лыжей... Если бы вместо Игоря не нашли Арика, я бы всё ещё думала, что он жив... Ляля так не думала. В отличие от меня, она пятнадцать лет провожала и встречала мужа. У неё не было иллюзий. Но она была тверда и внешне спокойна.

Приняли решение: всех, кого нашли, немедленно отправить вместе со второй сменой в Минск. Третья смена осталась искать Игоря. В Совете по туризму было

многолюдно: ждали известия о прибытии самолёта, который летел из Иркутска четверо суток. Несколько раз ложная тревога заставляла ездить в аэропорт, который тогда был в черте города, и возвращаться обратно. Это было второе ожидание, не менее мучительное чем первое, но без всякой надежды.

Их было девять: Игорь Корнеев, Володя Скакун, единственная девушка – Аня Нехаева, Миша Корень, два друга – Саша Носко и Саша Фабрисенко, Федя Гимеин, Арик Крупп и самый младший – Вадик Казарин – ему было всего двадцать три года. Двоих – Федю Гимеина и Сашу Фабрисенко – родственники хотели похоронить на малой родине, а для семерых было выделено место на Чижовском кладбище.

Поначалу собирались сделать коллективные похороны. Был найден большой спортивный зал для прощанья. И вдруг восемнадцатого вечером к нам домой пришёл официальный представитель с работы Арика и спросил, согласна ли я, чтобы завод взял на себя заботы о похоронах. Я ответила, что это невозможно, потому что Арика будут хоронить вместе со всеми. Мне, неискушённой в политических ходах, было невдомёк то, что сразу же понял Миша, муж Дины: никаких совместных похорон не будет, решение принято наверху и обсуждению не подлежит. Когда «представитель» ушёл, он мне всё это объяснил.

– Представь себе процессию: семь гробов... а сколько народу? Ты представляешь, сколько будет народу? Полгорода! А вдруг люди захотят нести их на руках до самого кладбища? Кто запретит? Поставят на плечи – и понесут! И кто может сказать, во что это всё выльется?

Девятнадцатого с утра я снова уехала встречать самолёт. Он снова не прилетел, и сказали, что в этот день его не будет. Приезжаю домой и нахожу разорённое гнездо – родителей Арика нет. Мама с Динкой рассказали, что

подъехала синяя «Волга», их «сгребли в охапку, как котят», посадили и увезли. А Минна Ароновна, мама Арика, плакала и всё говорила: «А как же Надя?» На столе лежала записка с адресом на бульваре Толбухина.

– А почему их увезли?

– Сказали, что здесь нет условий. Там ванна и туалет в квартире.

Вечером в тот же день прилетел самолёт. Из него выгрузили охапки багульника и восемь оцинкованных гробов. Я об этом не знала, в аэропорту была сестра Арика.

А мне пришёл конверт из Фрунзе. В нём – согласие на удочерение Дины, которое мы с Ариком ждали терпеливо, но до его ухода в Саяны так и не получили. Именно поэтому мы и сами не расписались – хотели сделать всё сразу. Когда начались поиски ребят, я стала нервничать и отправила во Фрунзе письмо:

Ирочка, есть просьбы, которые, если уж обещают выполнить, то выполняют немедленно.

Это было уже второе письменное напоминание. Я понимала, почему нет ответа: тот, кто должен был подписать согласие на удочерение, наслаждался властью. И вот теперь я получила эту бумагу с нотариальной печатью – через три месяца...

С припиской: «*Слишком поздно*» – отправила назад.

Двадцатого хоронили. День был будний, и врачи в поликлиниках, не разговаривая, давали всем освобождение от работы. Все понимали, какой это день.

После «высочайшего» решения об индивидуальных похоронах ребят развезли по организациям – каждого в свой коллектив. Прощанье с Круппом было в клубе его родного завода. По просьбе Минны Ароновны гроб не

открывали. Длинный, обитый цинком и покрытый кумачом ящик стоял на помосте. Он был завален огромными красными тюльпанами. Из всего, что было в этом зале, я запомнила лишь лёгкое тельце Минны Ароновны, которую мне приходилось поддерживать, да красное, опухшее от слёз лицо Нели Дёминой, которую я выделяла из всех «городских друзей» Арика – она вызывала у меня глубокое уважение.

Семь печальных процессий двигались в одну точку с разных концов города. Расписание похорон было составлено таким образом, что тела опускали в землю с интервалом в тридцать минут. Когда опускали Круппа, пошёл дождь.

– Природа оплакивает хорошего человека, – сказал Пайзу: он как раз говорил прощальные слова...

Я стояла у самого края могильного среза и неотступно смотрела на дно ямы. Хотелось спрятаться в куртку, накинутую на плечи, – я стянула борта её под самыми глазами. Нет, хотелось другого – хотелось оказаться внизу, прижаться к гробу, обнять его руками и остаться там навсегда. Сознание удерживало от бессмысленного фарса. Когда засыпали и покрыли живыми цветами могилу Круппа, привезли Вадика Казарина – его хоронили рядом, – и новые люди смешались с теми, кто уже был здесь. Я потеряла из виду и Минну Ароновну с Яковом Самуиловичем, и маму с Диной. Побрела вдоль свежерытых могил, пытаюсь найти их. Увидела родителей Арика – маленькие, тщедушные, потерянные старички. Как дети, держались за руки и передвигались мелкими шажками. Видно было, что горе, свалившееся внезапно, раздавило их непомерной тяжестью. Рядом остановилась синяя «Волга», их подхватили под руки и посадили в машину, которая тут же развернулась и уехала. Я подняла голову – передо мной стояла Ляля, строгая и спокойная. По другую сторону от могилы Арика остался

пустой клочок земли – это было место для её мужа, Игоря Корнеева, которого ещё не нашли.

– Где мама? Где Дина? – спросила я и тут же увидела их: моя уже старенькая мама сидела на скамеечке, а Дина стояла около.

– Ляля, их нужно отправить отсюда.

Ляля считала, что мне тоже нужно домой. Эта мысль меня испугала.

– Нет–нет, я буду здесь...

Мы посадили маму с Диной в одну из машин – уезжали знакомые туристы – и попросили отвезти их домой. Ляля пыталась уговорить меня тоже уехать, но я, как заведённая, твердила, что буду здесь до конца.

К нам подошёл Феликс Норкевич – мастер спорта по альпинизму, он руководил спасательной экспедицией в Саянах.

– Ляля, вы не волнуйтесь, мы найдём Игоря.

Ляля кивнула. И только тут я подумала: «Каково ей? Мы–то хоть знаем, что наши похоронены... А она?..» Мысленно я восхищалась её внешним спокойствием: Ляля казалась мне недосыгаемой. И в довершение всего она сказала, что её дочери ничего не знают о том, что случилось в Саянах. У Ляли были две девочки: младшая, Оля, ещё ковыряла в носу, старшая, Ира, – на год–другой младше моей Дины. Разве я могла бы всё скрыть от Динки? Даже не мыслю – кишка тонка. А Ляля, будто поняв, о чём я думаю:

– У Иришки завтра день рожденья. Я не могла ей испортить праздник.

Неслыханно! Откуда у этой женщины силы? Она ещё будет устраивать праздник!

– Надя, а куда увезли родителей Арика?

– Их забрали от меня. Вчера. Когда я бегала встречать самолёт. Как воры. В моё отсутствие. Всё рассчитали. – Я крепилась, чтобы не расплакаться.

– Вы должны немедленно поехать к ним. Вы знаете адрес?

– Да. Мама оставила записку. Бульвар Толбухина. Но я не поеду. Они ведь сами уехали от меня.

– Их увезли, как маленьких детей. Разве вы не видите, как они беспомощны?

Ляля просила, умоляла... Она пыталась объяснить мне, что матери Арика сейчас никто не нужен так, как я. Она требовала по праву старшей, чтобы я ей подчинилась. И снова просила... И будто на подмогу, рядом остановилось такси. Ляля открыла дверцу, чуть ли не насильно усадила меня в машину и сказала водителю:

– На бульвар Толбухина.

В просторной комнате на широкой тахте, крошечным чёрным комочком, скорчившись, лежала мама Арика. Она увидела меня, растерянно остановившуюся на пороге, охнула и бросилась мне навстречу. Мы обнялись, и мама заплакала. И думаю, что обе мы почувствовали в этот момент одно и то же – как мы были сейчас нужны друг другу! Ляля оказалась права. Не послушайся я её и не окажись здесь в эту минуту, я бы осталась для них навсегда чужим человеком.

Утром я позвонила Ляле и сказала ей спасибо. Так началось наше более близкое знакомство. Не скажу – дружба, потому что всегда было «Вы» и всегда была дистанция. Но это не мешало мне любить её, и не мешало ей не однажды спасти меня мудрыми советами.

Уезжая, сестра Арика сказала, что не вернёт мне блокнот с его стихами, как обещала по телефону, а оставит себе, на память о брате. Мне нечего было возразить. Все уехали.

На работе ко мне подошёл звукооператор Вежневек и протянул маленькую плёночку, сказав: «Это то, что Арик спел перед самым походом. Мы писали для фильма». Дома я поставила плёнку на «Ноту» и услышала:

Если я заболею, к врачам обращаться не стану,
 Обращусь я к друзьям – не сочтите, что это в бреду –
 туманом,
 Постелите мне степь, занавесьте мне окна
 звездой.
 В изголовье поставьте упавшую с неба звезду.

.....
 От морей и от гор веет вечностью, веет простором.
 Раз посмотришь – почувствуешь: вечно, ребята, живём!
 Не больничным от вас уйду я, друзья, коридором,
 Уйду я, товарищи, сказочным Млечным Путём.

Что тут ещё прибавишь? Ведь это же надо было спеть именно эти строки...

Через две недели нашли Игоря Корнеева. Когда снег начал таять, обнажилась поднятая вверх рука с лыжной палкой. Будто он поднял её навстречу лавине, будто он хотел задержать её. По его корявым записям, сделанным окоченевшими пальцами в ученической тетради в клеточку, удалось восстановить всё, что произошло в те дни в Восточных Саянах у перевала Пихтовый.

Рано утром двенадцатого марта ребята с оленьим обозом отправились в горы. У первого перевала каюр простился с ними, а они встали на лыжи и вышли на маршрут. Снега в горах было мало, и все радовались, что не будет лавин. Но за две недели, пока они дошли до Пихтового перевала, навалило столько снега, сколько положено было этой земле получить за всю зиму. На

зазубринах гор нависли огромные снежные козырьки. Последняя стоянка перед перевалом затянулась на трое суток, потому что у Феди Гимейна открылась старая болячка – язва желудка. Пережидали, когда спадёт боль. А снег всё валил, и козырьки за эти дни стали ещё тяжелее. Снарядили двоих в разведку. Вот их–то записку, оставленную по всем туристским правилам, и нашли спасатели. Разведчики вернулись к вечеру и рассказали, что снежные навесы всюду с двух сторон. Предстояло пересечь небольшое плато, окружённое цирком горных вершин. На коротком совещании решили идти. Игорь Корнеев один был против. Он был старше и опытнее всех. Хотя тут у всех за плечами были Кольский, Полярный и Приполярный Урал, и именно поэтому все были уверены, что всё смогут. Игорь не был уверен. Он знал, что это совсем другие горы. Он предчувствовал, что они не пройдут. Но изменить ничего не мог: по уставу все подчинялись командиру группы. Идти на конфликт он не хотел. И ещё он верил в судьбу.

Утром двадцать пятого марта группа снялась со стоянки. Игорь нёс шатровую палатку и, собирая её, чуть задержался. Он шёл последним, метров на пятьдесят отставая от всех. Может быть, он испытывал судьбу? Как только они вступили в ложбину, он услышал характерный шорох, поднял голову – и увидел белое облако. Он хотел крикнуть, чтобы предупредить товарищей, но не успел – лавина накрыла его. Последнее, что он видел, – маленькие тёмные фигурки лыжников в молочном мареве. Игорь, как видно, оказался на окраине лавины, потому что снега на него навалило не очень много, и он почувствовал, что жив. Попробовал выбраться. Когда ему это удалось, он не увидел перед собой ни одного человека. Лишь просторы безмолвного снега до горизонта. Да собака – одна из двух, которые шли с группой.

У Игоря была запасная лыжа – «тёща». Он пытался ею раскапывать снег – всё равно что перочинным ножом пытаться вырыть колодец. Потом вернулся на место стоянки, поставил палатку и жил там четыре дня. Все четыре дня ходил откапывать ребят. Убедился в бесплодности своих попыток. Ночами не спал: кругом грохотали лавины, и он боялся, что его накроет вместе с палаткой во время сна. Наконец, нервы не выдержали: он бросил бесполезную без примуса, холодную, тяжёлую палатку и ушёл назад по той дороге, которая привела их сюда. Он шёл к людям. Ушёл недалеко. В двухстах пятидесяти метрах от стоянки его накрыла лавина. А палатка осталась целёхонькой... Спасатели говорили о том, что, если б у Игоря хватило терпенья просидеть здесь две недели, одиннадцатого апреля его нашёл бы вертолёт. У него был небольшой запас сухарей и яичного порошка – этого хватило бы, чтоб продержаться. Да... Если бы он мог просидеть, это был бы уже не Игорь. Чего он не мог совершенно – это бездействовать. Дольше всех прожила собака. Оставшись в полном одиночестве, она, видимо, в поисках пищи, побежала туда, где засыпало ребят, и стала откапывать рюкзаки. Там её и завалило.

Хоронили Игоря на оставленном для него месте пятого июня. Как я завидовала Ляле, что она видела его лицо, что она могла обнять его, склонившись над гробом, припасть к нему щекой. Такой возможности я была лишена. И был ещё повод для белой зависти: она прожила с любимым человеком пятнадцать лет... Даже если они промелькнули быстро, это всё-таки были пятнадцать лет!

В тот день, когда Игоря должны были привезти, Лялина мама забрала её девочек к себе. Так Ляля и не поделила с ними своего горя. Думаю, что старшая, Ира, всё знала, но молчаливо приняла предложенный матерью вариант жизни. Они всегда делили радости, но в горе почему-то предпочли остаться порознь.

Лишь через год Ляля спросила у старшей дочери:
 – Ты хочешь поехать к папе?
 Ира молча кивнула. И они поехали на кладбище.

На выходные мы с Валентиной Николаевной всё ещё по инерции первое время продолжали ходить с «лесными» ребятами в походы. И заметили странную вещь – они изменились: с легкостью говорили слова, которые никогда не произнесли бы в присутствии Круппа, а двое из них очень грубо обошлись с девочками, что при Арике было просто немыслимо. Мир изменился...

Когда исчезнут в мире песни –
 дома не рухнут, гром не грянет.
 Всё, всё останется на месте:
 зелень лесов, закат багряный.
 И будет ветер биться в крыши,
 и будут люди жить под ними,
 но кто–то друга вдруг не сыщет,
 а тот с врагом бокал поднимет.

...

И из–за девок, и из–за денег
 рвать глотки своре будет свора,
 но струн Орфеи не заденут,
 лишь закричит пред пиром ворон.
 Потом полком крылатых бестий
 дымы пожаров скроют звёзды...
 ...Когда исчезнут в мире песни,
 искать потерю будет поздно.

«Лесные» ребята и «городские друзья» даже после смерти не могли поделить Круппа, и каждый из кланов говорил: «Он наш». Валентина Николаевна сказала по этому поводу, что все «хотят быть причастны...». Однажды

я встретила институтского друга и коллегу Арика по работе, Яшу Сапожникова, и он сказал мне, что прекратил общаться с женщинами в отделе – они надели траур, прикололи фотографии Круппа к кульману и разговаривают так, будто все его вдовы. Вспомнилось заплаканное лицо Нели Дёминой и то, что Арик, рассказывая мне буквально обо всех своих друзьях – всегда остроумно, с юмором, тонким пониманием и глубоким проникновением в психологию – никогда, ни одного слова не сказал о Неле. Вероятно, он знал, что Неля любит его и что это для неё серьёзно, и очень бережно относился к ней.

Обнаружилось, что у Арика есть страховка, оформленная на имя мамы. Петя Микульский вспомнил об этом, когда пришли плохие вести по телетайпу: ещё год назад агент по страхованию пришла в общежитие и долго всех упрашивала застраховать свою жизнь. Внял её мольбам только Арик. И когда Петруша мне это рассказал, я поняла, что Крупп совершенно забыл про свою страховку. Ему было свойственно забывать о вещах, для него не существенных. Например, он не сомневался в том, что прописан в общежитии. Но, собравшись постирать его плащ, когда он был в Саянах, я обнаружила во внутреннем нагрудном кармане заполненные бланки на прописку, а после похорон, когда я приехала на бульвар Толбухина, Яков Самуилович спросил у меня, почему Арик не был нигде прописан, и показал мне его паспорт с чистой страничкой там, где должен стоять штамп. И тут я поняла, что за бланки лежали у него в кармане: получив после обмена новый паспорт, он заполнил бланки на прописку, положил в карман и благополучно забыл о них. Это было на него похоже – что для него была прописка? Думаю, то же было и со страховкой, потому что однажды, получив зарплату, он спросил меня:

– У нас с тобой одинаковый оклад, а почему я получаю меньше?

– Не знаю. Может быть, бездетность...

– Так много? Не может быть.

И мы забыли об этом. Только после Петинского рассказа я поняла, за что у Арика высчитывали деньги. Оформил страховку потому, что не хотел огорчить агента, – и забыл. Мне всё это было очень понятно. Но вот некоторые из «городских подруг» Арика всё норовили при встрече мне объяснить:

– Ты должна понять, почему Арик оформил страховку на маму: он знал, что это единственное, что он может сделать для своей матери, если с ним вдруг что–нибудь случится.

Я не понимала другого: – на кого ещё он мог оформить свою страховку, если год назад, когда он её оформлял, у него, кроме родителей, никого не было?

Начиналась мелкая мышиная возня, и, как я ни старалась отодвинуться от всех слухов, они рано или поздно приходили ко мне.

Говорили, что я устраиваю скандалы в Совете по туризму по поводу того, что мне не дали квартиру за погибшего мужа, а моей дочери не дали пенсию за погибшего отца, почему страховка Круппа оформлена на маму, а не на меня, – и прочий бред. Мне и так было худо, а тут ещё такие вести...

При всей нелепости сплетен они выглядели правдоподобно. Их авторы уловили главное – мою способность не молчать в конфликтной ситуации и говорить вслух всё, что думаю. Видимо, на моём лице это качество было написано. Ничего не стоило подтасовать его под способность устраивать скандалы – а на это основание можно было взгромоздить любую чушь, и всё выглядело натурально.

Через три года я получу от Ниночки письмо, и в нём – рассказ о том, как они с Ариком прощались в минском аэропорту.

«Это была последняя фраза Арика:

– Нин, но хоть ты-то веришь, что я её очень люблю?! – и упал лицом на моё плечо».

Бедный Крупп! Он знал, что его «городские друзья» никогда не примут нашего союза. Мне он этого не говорил: оберегал... Но каково было ему – ведь он-то любил их тоже...

И теперь, когда сплетен стало слишком много, Валентине Николаевне однажды надоело выслушивать легенды обо мне, и она сказала: «Докопаюсь до первоисточника». Я не отнеслась серьёзно к этому заявлению, да и не думала, что у сплетен есть какой-то один первоисточник: казалось, это коллективное творчество некой враждебной среды, которая обожала Круппа, но не могла примириться с тем, что он может быть не один. А Валентина Николаевна «пошла по следу», и привёл он её... к Чуланову. Теперь уж я совсем ничего не могла понять. Зачем это Саше?

– Это не всё. Есть ещё новость. Девочка с телевиденья, которая у меня стажирруется, сказала, что Саша на следующий же день после ЗАГСа ходил и показывал всем на работе свидетельство о браке.

– Не может быть! – я не верила ушам своим: ведь Галя отдала ему свидетельство для того, чтобы он был спокоен, что этот документ никто не увидит. – Зачем же он это делал?

– Так ему давно обещали комнату, если он женится. А когда он показал свидетельство, целая делегация

сотрудников отправилась к директору и добилась обещанного.

Теперь я уже совсем ничего не понимала. Значит, он и не любил никогда Галю? Закадрил и женился только тогда, когда понял, что комнату дадут, и только для того, чтобы её получить? Не проще ли было договориться с Галей, чтобы она на новоселье сыграла роль хозяйки дома, и остаться с ней в дружеских отношениях? Это, по крайней мере, было бы честно по отношению к ней. А она была бы рада таким образом отблагодарить Сашу...

Если вся наша жизнь регламентирована нечеловеческими законами и человек вынужден защищать себя обманом, то разве есть выбор, кого обманывать: государство в лице телестудийного начальства или конкретную девушку Галю, воспользовавшись ситуацией? Чуланов выбрал Галю. Так вот почему у всех его знакомых женщин вытянулись лица, когда я упомянула о фиктивном браке! Так вот какие неприятности у него были из-за моей болтливости... Бедная Галка!.. А что было бы, если б вернулся Арик? Не могу даже представить.

Пришла Галя, и у меня не хватило ума скрыть от неё наше открытие. Этого я себе потом никогда не простила. Она всё ещё любила Чуланова. И конечно, теперь чувствовала себя рядом со мной не лучшим образом. Я теряла Галю на глазах...

На следующий день, когда пришла домой, её вещей не было, а на столе лежала записка:

*Спасибо за приют, madam,
Спасибо за тепло и ласку,
Я ухожу к чужим людям,
Чтоб жить по Вашей же указке.
Галя*

Внизу была нарисована смеющаяся рожица.

Если б у меня сохранилась хоть капля слёз, наверное, я бы рыдала. Но всё было выплакано на долгое время вперёд. Я понимала, что это конец. Если бы я могла её вернуть, я бы берегла её и лелеяла. Никогда бы не потеряла. Но теперь я могла биться головой о стенку, ничего бы не изменилось. Значит, началось время потерь...

Нет, я сама по собственному убожеству открыла счёт в Джамбуле.

За это и получила Саяны.

И вот – третья потеря.

Написала покаянное письмо Ниночке. И пришёл ответ.

...Прошу тебя, перестань себя казнить и выматывать по причинам, не заслуживающим больше расплёскиваний самых положительных твоих эмоций.

*Те, кто может уйти, должны уйти.
Не нужно просить их остаться.
Остаться должны только те,
Кто не может уйти.
Разве удержишь того,
У кого есть возможность уйти?
Ослабевшие не в силах
Удержать кого бы то ни было.
Но и в хорошее время
Не удерживайте тех, кто может уйти,
Потому что может наступить плохое*

время.

Бертольд

Брехт

Я нисколько не защищаю её, хотя верю, что где-то ты переборщила, зная легкоранимую Галку. Но ведь она же тебя знает тоже, и какие-то вещи мы должны всегда

прощать друг другу. Не хочет прощать или сама не знает, чего хочет, пусть уходит. Мы уже достаточно взрослые, чтобы взвешивать свои поступки, значит, она уже выбрала, «как жить, бросив жизнь на весы».

.....

.....

... И уже нужно восстанавливаться в нормальное состояние, что же поделаешь, если мы майские. Вот я никогда не верю в то, что у меня будут счастливые дни, но все-таки я считаю себя счастливой, что у меня была такая большая любовь, а она и сейчас живёт во мне, и её у меня никогда никто не отнимет. И у тебя никто не отнимет того, что было. Ты – единственная жена Арика, хотя сама понимаешь, сколько у него было поклонниц. Но ведь женой и любимой назвал он тебя, а в его искренности никто не сомневается. Вот все и бесятся. Только ты не поддавайся унынию. Арик всегда с тобой и со мной тоже. И я с тобой. Ты да я – мы сейчас как два велосипедных колеса с общей рамой, у каждого свои шрамы и столько своих спиц... Как заряд, выполненный дуплетом, летим вместе...

Ниночка утешала... Но Галя так и осталась моей незажившей раной на всю оставшуюся жизнь.

Как-то поздно вечером мы с Леной Асиновской сидели в нашей «мансарде» и разговаривали. Динка спала за занавеской. Разговор всё ещё шёл о потерях. С того самого мгновенья как я узнала о гибели Арика, я перестала ощущать себя целым существом – меня рассекли от макушки до паха. От меня осталась половина, из которой хлестала кровь. Боль при этом так велика, что порой не понимаешь до конца, что говоришь.

– Конечно, то, что произошло с тобой – ужасно... – сочувственно сказала Лена.

– Да. Ничего хуже со мной произойти не могло. Если бы я лишилась детей, я могла бы их ещё родить. От Круппа. И была бы семья. А теперь никогда ничего не будет.

Лена испуганно покосилась на занавеску.

– Ты, смотри, не скажи это когда-нибудь при Дине.

– Ну что ты!

Я не знала, что Дина не спала и всё слышала. Сейчас у меня сжимается всё внутри, когда я думаю о том, как себя чувствовал ребёнок, только что потерявший отца и вот теперь преданный матерью. Думаю, что именно тогда я потеряла дочь. Ещё одна потеря. Четвёртая. Не сбиться бы со счёта... Сколько их ещё впереди? И всё делаю собственными руками. Как хотелось бы обвинить судьбу. Нет! Всё сама... Почему-то вспомнилось, что мне сказала знакомая хиромантка, когда мне было лет тридцать: «Есть судьбы, которые не зависят от человека. А твоя судьба – вся в твоих руках: как сделаешь – так и будет».

Пришло время разобрать бумаги Круппа. Вот тут я нашла его повесть «Со мной ничего не случится», прочла и поняла, почему он не дал мне прочесть её раньше: не хотел, чтобы я волновалась, осознав опасность зимнего похода в горы.

Его почта и записные книжки, где встречались адреса, записанные женской рукой, заставили вспомнить упоминание Ниночки о поклонницах. Я ощущала их своими сёстрами.

Несколько открыток были подписаны не именем, а одной буквой «Я» – с обратным самаркандским адресом. Вспомнила строчку: «То нужно мне, а то тебе, то в Воркуту, то в Самарканд». Поняла, что это «любимая женщина» Арика, Светлана. Почему-то я решила, что она до сих пор ничего не знает. Написала ей пару строк о том, что произошло в Саянах, и отправила по адресу, который был на открытке. Фамилии я не знала. После номера квартиры

написала имя. Письмо не было рассчитано на ответ. Он пришёл неожиданно в начале июня. Светлана давно уже уехала из Самарканда к родителям мужа в Калининскую область. Странное письмо без фамилии адресата получила мать и переслала дочери. Но Светлана уже всё знала. Она писала:

...Ведь в моей жизни это первая огромная утрата. Позади два года интереснейших встреч, людей, познания, радости, песен, музыки, добра, бесконечной отзывчивости и преданности – и всё это Арья.

А теперь его нет, и с этим невозможно мириться.

Перед самым отъездом он прислал мне маленькую открытку – поздравление, а потом: «Светка, я женился». Даже представить себе не можете, как я обрадовалась. Наконец-то у него будет свой дом и свой добрый мир, ему не придётся больше скитаться по квартирам друзей, завидуя теплу и уюту, не надо будет возвращаться в полное суеты и сплетен общежитие... В конце июля я буду в Минске, и мы обязательно встретимся, если Вы не возражаете.

Света.

Я – возражаю? Мало кого тогда хотела увидеть так, как Светлану. Разве только Ниночку...

А вот из джамбульской гостиницы ответа всё не было. Пришлось написать туда снова и объяснить, что мне очень нужны письма человека, которого уже нет. И получила ответ:

Уважаемая Надежда Николаевна! Я разделяю Ваше горе. Было письмо, и, моя хорошая, отослали его по твоему адресу. Вот ведь жизнь какая, кому нужно

*умереть, тот живёт. Ну, будь умницей. С уважением,
администратор В.И. Гаранина.*

Так и остались навсегда утраченными два письма Арика, отправленные на адрес джамбульской гостиницы «Сокол».

В черновиках у Арика нашла стихи:

Зови – я ещё не устал,
зови – проще принять решение,
зови – я играю с листа
забытую песнь возвращения.

К чему эти все острова
и солнце чужое? А мне бы
рубить в той избушке дрова,
где запах сосны или хлеба.

Я думал, что сотня дорог
к тебе, оказалось – ошибка.
Я думал согреться – продрог:
чужое тепло слишком жидко.

И солнце катилось зазря
на красных ладонях заката,
и реки бежали к морям,
а я потерял свою карту.

Я песни слагал не про то,
а те – о тебе – забывались,
и странною шёл я тропой,
она за спиной обрывалась.

Но есть ещё горы в снегу,

а годы – привычной поклажей.
Зови – я обратно бегу,
а память дорогу подскажет.

1970

Стихи были написаны недавно. Обращены явно к Ире – первой любви Арика. Она была на похоронах – я узнала её по фотографиям – в компании «городских друзей», которые после известия о гибели Круппа резко от меня дистанцировались. Подумала, что она ничего не знает об этих стихах и ей было бы приятно их получить. Нашла её адрес и послала ей на память. Лишь позже узнала, что это песня, и даже нашлась запись из Могилёва, правда, плохого качества. Почему-то Арик её никогда не пел.

Отправить-то стихи я отправила, но они не давали мне покоя. Была в них какая-то загадка. По сути – не было, всё ясно: странная тропа, которая «за спиной обрывалась» – трагическая ситуация, связывавшая его со Светланой. Но была тут текстовая загадка. Что такое «солнце чужое»? Оно мне просто не давало покоя. Принято говорить о «чужом солнце», когда речь идёт о чужбине, но Арик не покидал своей большой Родины, а пустых слов у него никогда не бывало. И что значит: «к чему эти все острова»? Какие острова? Что такое «чужое тепло»? Всё это засело, как заноза, и не давало мне покоя. Я мучительно вспоминала каждое слово из рассказа Арика о Светлане. И вдруг в моём сознании всплыл образ: любовь – это огромное солнце. Вот оно! «Чужое солнце» – это любовь, отданная не тебе, а другому. Вот от какого тепла можно продрогнуть, потому что оно – чужое. «Острова» – это крохи любви, которые дарила ему любимая, – острова её любви в океане её нелюбви. Как всё просто!

Там же, в записных книжках, были стихи, посвящённые Светлане, которые я уже цитировала выше, и отдельные

строки, обращённые к ней. И там же я нашла стихи, которые мне показались замечательными:

Пожалуй, мне не жаль моих ушедших лет,
они ушли, но не пуста моя ладонь:
друзья, ошибки, горы, горе, чёрный хлеб,
вокзалы и ночных костров огонь.
Я до сих пор пою про десять звёзд над
головой,
и до сих пор дорога мне как будто бы
впервой,
и песни, и любовь – ещё как первая
любовь,
и новый день – ещё открытие смысла
старых слов,
и там, где я бывал, ещё не стёрся след –
пожалуй, мне не жаль ушедших лет...

Это, судя по всему, тоже семидесятый год. Вот тут и начиналась тема «Зрелости». Эти мысли жили в нём, волновали его и получили новое развитие в его последней перед Саянами песне:

И мне не жаль ушедших лет нисколько.
О жизнь, ведь это правда, что нисколько
не жаль ушедших, просто грустно дольки
души оставить там, где уж не быть.
А юность... Что же, юность так нарядна.
Нет, не красива – только лишь нарядна.
Но в зрелости любви безоглядней,
и с каждым годом интересней жить.
Но в зрелости любви безоглядней...

Как-то я зашла к Еве Львовне, и она рассказала мне о своём разговоре с Ариком на кухне, когда мы приходили к ней в последний раз – слушать Азнавура.

– Я спросила его: «Арик, ну как жизнь?» и услышала в ответ: «Я счастлив, как никогда. Я даже не думал, что в моём возрасте, на четвёртом десятке, человек может быть счастлив, как в юности, и даже больше, чем в юности». А потом мы говорили о том, что каждый возраст хорош по-своему. Я сказала Арику, что люблю свою работу и получаю много радости от своих студентов, от друзей и от семьи. Поэтому мне не страшно стариться.

Так вот какой разговор вспоминал Арик, когда писал свою последнюю песню...

– И ещё он мне позвонил – перед самым походом, – продолжала Ева Львовна. – Сказал: «Я перед вами в долгу. Я всё прихожу к вам слушать и ни разу не пришёл с гитарой. Но обязательно приду после похода. У меня тут новая песня сложилась, я вам её спою».

Встретила нашу знакомую Фаю Жениховскую. Она рассказала мне, как однажды наткнулась на Арика на улице – в солнечный весенний день. Он не мог скрыть радости, которая просто распирала его. И когда она спросила, что случилось, почему он так сияет, Арик ответил:

– У меня есть дочь!

– Ну и что? Я знаю, что у тебя есть дочь...

– Ничего ты не понимаешь! – сказал он улыбаясь. И умчался...

Видимо, встреча эта произошла в тот день, когда Дина впервые назвала его папой.

Так, по крупицам, я собирала Круппа.

В конце июня у меня выдалось несколько свободных дней, и я поехала в Лиепаяу навестить родителей Арика. Разыскивая дом, ужасно волновалась. Дверь была заперта.

Соседка сказала – ушли гулять. С колотящимся сердцем всматривалась в идущих по улице людей. И вдруг увидела: далеко впереди, как всегда взявшись за руки, они медленно двигались мне навстречу. Неожиданно для себя я бегом бросилась к ним. Налетела, как ветер, и сгребла их в охапку. Они не сразу узнали меня – я снова коротко постриглась.

– Что это за мальчишка? – улыбаясь, спрашивал отец.

У них была маленькая двухкомнатная квартирка с печным отоплением в старом двухэтажном домике. В одной комнате они спали, а вторая была и кухней, и гостиной, и спальней для гостей. Будто извиняясь за скромность обстановки, мама говорила, что раньше здесь было очень уютно: пол натирали воском, а на столе была красивая скатерть и всегда стояли цветы. Оказалось, что сохранился и воск, и щётка для натирания, и впервые в жизни я занялась этим экзотическим делом. Мама учила меня. Когда весь пол заблестел, мама улыбнулась, а я сбегала за цветами. Нежно-розовые, лиловые и белые флоксы придали комнате праздничный вид. В ближайшей кондитерской я открыла лакомства, не виданные в Минске, – фирменный пирог «Сигулда» и воздушный чайный пирог. А на следующий день сварила свой любимый красный борщ. Отец оживился и стал вспоминать эпизоды из прошлого. Они рассказывали свою жизнь по очереди, вразброс, перескакивая из далёкой молодости в недавние годы и снова возвращаясь чуть ли не в студенческие времена. Из калейдоскопа рассказов постепенно вставала вся их жизнь: много обещавшая юность, учёба за границей, успешное начало профессиональной работы в Даугавпилсе – отец был адвокатом, мама преподавала английский. Счастливая семья, квартира с анфиладой комнат, рождение детей, русская няня Алёна. И немецкие бомбёжки... Арику было четыре года, когда они уходили из города от фашистов. По пути рвались снаряды. Спасаясь

от осколков, они падали и прижимались к земле, а Арик плакал и звал:

– Спаси меня, Алёшенька!.. Спаси меня, Алёшенька!..

Алёшенька не поехала с ними: от немцев бежали только евреи.

Потом – эвакуация в Средней Азии. Чтобы прокормить детей, родители продали обручальные кольца. Спасла адвокатская практика отца: люди шли к нему за советами и, как могли, благодарили.

Возвратившись на родину, они оказались за бортом новой жизни – как представители буржуазной интеллигенции старой Латвии. Страна не нуждалась в их профессиональном опыте. Семья бедствовала до тех пор, пока Якову Самуиловичу не удалось найти работу в Лиепае. Туда они и переехали. Со временем и мама устроилась преподавать английский язык в школе. Жизнь постепенно наладилась. Дети, работа – всё вошло в свою колею. Правда, это была уже совсем другая жизнь, но главное оставалось с ними – любимые дети и любимая работа.

Отец был не просто адвокатом, он был ещё хорошим психологом. Ему пришлось много заниматься семейными делами своих клиентов, и он даже устроил на научной основе консультативный пункт по брачным делам. Он пришёл к выводу, что браки бывают прочными, если люди близки по своим интересам, взглядам на жизнь и вкусам и резко различны по характеру, по натуре, по темпераменту.

Я подумала, что он – ах какая умница! – абсолютно прав. Это полностью относилось к нам с Ариком. Он – Христос, а я – максималистка. Он мягкий человек, у которого никогда не было врагов, а я вся из углов, у меня всегда есть преданные друзья и яростные враги.

Отец рассказал, что однажды он был у кого-то на серебряной свадьбе и там увидел две семейные пары, в

которых, по тому, как он видел этих людей, должны были поменяться местами мужа и жены. Он сказал им:

– Господа! Вы неправильно сидите – позвольте вас пересадить...

И поменял местами мужчин. Весь вечер новые пары увлечённо разговаривали и танцевали. А на следующий день все четверо пришли к нему поблагодарить и попросили его помочь им развестись и оформить новые брачные союзы... К нему приходили за консультациями мамы, когда сыновья собирались жениться, и супруги, у которых не ладилась семейная жизнь. В общем, его общественное хобби имело в городе большой успех.

Они были такие разные – родители Арика. Отец, как сильный человек, не мог позволить горю сломить себя. Он поступил на заочные курсы английского языка, получал по почте задания, аккуратно их выполнял, тренировал своё произношение, слушая пластинки с уроками английского языка, и с гордостью говорил мне, что учится на «отлично». Он чётко выполнял все предписания врачей, точно по расписанию принимал лекарства, которые хранились в специальном маленьком холодильнике.

Мама не пила ничего. Она была бесплотна, как лёгкая оболочка. Она говорила:

– Зачем мне пить лекарства? Арика нет. Солнце жизни моей закатилось. Для чего мне жить? Как будет, так и будет.

Иногда мы гуляли вдвоём, пока отец занимался английским. И я перенесла на неё свою нежность к Арику. Как много у него было от мамы... Всё, что связано с душой, – от мамы. А голова – от отца. Выбрано точно, как на компьютере. Совершенное создание природы? Когда у меня спросили однажды, были ли у Арика недостатки, я долго думала и наконец сказала:

– Да. Он был «привержен к сигаретам», – процитировала я его собственные слова.

Иных недостатков у Арика я не знаю. Кстати, о сигаретах. Я сама дымилась к тому времени уже лет пять. И после Арика ещё лет десять. Бросила в тот день, когда познакомилась с кришнаитами. Но это – из другого рассказа. А тогда моей доченьке очень не нравилось, что я курю, и она хотела воздействовать на меня через Круппа: – Па-а-ап, скажи маме, пусть не курит...

Арик улыбался. Он бы сделал для неё всё, но не умел насилловать чужую волю.

Мне было хорошо с родителями Арика, и им со мной, как мне казалось, тоже. Однажды отец – уж не помню, по какому поводу, – воскликнул в мой адрес: «Минна, да она же мишугина!» Я знала, что это такое. В переводе на русский язык это означало – «сумасшедшая», в самом лучшем смысле этого слова. Раз он так называл меня, значит, полностью признал своей. Я спросила, не захотят ли они переехать в Минск, когда будет построен наш дом? По их лицам поняла, что мой вопрос им приятен. Я понимала, что скоро они не смогут жить одни. Им уже тяжело было зимой топить печку.

– Мы подумаем, – сказал папа.

Но скоро приехала сестра Дина из Николаева. Она периодически устраивала себе командировки в Ригу и оттуда навещала родителей. Нужно сказать, что Дина после того, как увезла родителей на бульвар Толбухина, отдалилась от меня вместе с Чулановым и всеми «городскими друзьями».

Яков Самуилович сказал дочери о моём приглашении. Я увидела, как изменилось лицо Дины, и поняла, что в Минске родителям не бывать.

А в это время по всей стране проходили концерты и фестивали, посвящённые памяти Круппа. Первыми были ленинградцы. Они объявили концерт, когда ещё не были известны результаты поисков – для сбора средств в

помощь спасателям. Во время концерта пришло трагическое сообщение из Саян, и весть о гибели девяти белорусских туристов на Пихтовом перевале прозвучала со сцены. Концерт непроизвольно превратился в мероприятие, посвящённое памяти Арика. Кто-то прислал мне плёнку с записью этого концерта. Все выступавшие, кто лично знал Круппа, рассказывали о нём всё, что могли. Меня потрясло выступление Жени Клячкина. Среди спонтанных и потому часто сумбурных рассказов оно выделялось глубиной, чёткостью мысли и точностью формулировок: «Смысл жизни, как сказал мой любимый писатель Михаил Михайлович Зощенко, состоит не в том, чтобы удовлетворять свои желания, а в том, чтобы их иметь. Вот у Арика они были...»

И ещё он замечательно рассказал об эпизоде, происшедшем на Брестском слёте в 1965 году – песня Круппа «Десять звёзд» получила там первое место:

«...Поскольку всё это было в Белоруссии, минские газеты очень тепло встретили то, что один из минчан стал лауреатом конкурса, очень хорошо писали об этом. В частности, в белорусском «Комсомольце» было сказано так: вечером собрались ребята–туристы петь песни в своей палатке... Начальник сборов, маршал Советского Союза Конев, послушав, как поют хором ребята, даже несколько прослезился и сказал: «Спасибо, ребята, за хорошую песню».

А в действительности эта история выглядела вот так: ребята пели песню, пришёл маршал Конев, посидел, послушал. Конечно, все его заметили. Ну, песню продолжили, закончили её. Когда кончилась песня, маршал встал и сказал: «Вот видите, можно писать хорошие песни, и даже без похабщины. Кто написал?» – «Я», – сказал Арик. «Как фамилия?» – спросил маршал. «Крупп», – сказал Арик. Маршал поморщился и сказал: «Плохая фамилия». – «Сменю!» – сказал Арик. Вы понимаете, это

был очень живой и весёлый человек, с большим чувством юмора. Мне кажется, вот так и нужно его вспоминать. Все мы, пишущие слова и музыку, обладаем достаточным воображением и можем себе представить, что значит смерть. Но, наверное, не стоит этого представлять. Арика нужно сохранить в своей памяти живым. Он был очень живой человек».

Вот так точно и неожиданно. Неожиданно потому, что Женя Клячкин не был ни близким другом, ни закадычным собутыльником Круппа. На мой вопрос, знает ли он Клячкина, скромный Арик когда-то ответил коротко:

— Вместе пели, вместе пили.

Это означало – пересекались на слётах, фестивалях и концертах. Не более. Но, видимо, это уже мера таланта – понимать других людей. Ведь Крупп и сам был таков: ему не нужно было много общаться с человеком, чтобы до конца понять его суть.

С песней «Десять звёзд» связана ещё одна небольшая история. В первом варианте, представленном Ариком на суд жюри предварительного прослушивания, были такие слова:

Тряпок разноцветных вороньё
будет тебе горе ворожить,
по углам притихшее зверьё
каждый шаг твой будет сторожить.
Но нам нельзя привычкой обрастать
и тешить полуправдами себя...

Жюри эти строки не понравились: «Ну что ты, Арик, – какое-то «вороньё»... Ты это замени». И покладистый, добрый Арик заменил:

Эти десять звёзд, как маяки,
на краю неведомой земли.

Нам нельзя, чтоб наши рюкзаки
где-то дома прятались в пыли.

Ведь нам нельзя привычкой
обрастать...

Так впервые Арик Крупп познал заботливую
редакторскую руку.

Существует очень распространённая точка зрения, что
Крупп – баловень судьбы в сфере нематериальных
интересов. Да, у него не было квартиры, не было денег, не
было высокой должности, но зато его все любили.

Эту мысль можно продолжить: если его все любили, то,
надо полагать, ему никто не делал зла, никто не
обламывал ему крыльев... Откуда же он так хорошо знаком
с чисто советской трагедией? Почему он так пронзительно
написал о судьбе бумажного змея?

Но увидел и он сверху те же дворы.
Увидел бечёвку в руках пацана.
Попробовать вырваться? Змеи мудры.
Рвать нити для них – дорогая цена.
Большая цена.

Могут змеи летать, лишь за нитку
держась.

За свободный полет – под колёса машин,
под подошвы людей, на асфальт или в
грязь.

И гибнут видения синих вершин.
Далёких вершин.

Откуда он всё это знал – баловень судьбы, всеми
любимый, духовно благополучный Арик Крупп? Об этом я с
ним поговорить не успела. Так же, как и о многом другом.

Встал вопрос о памятнике на Чижовском кладбище, где были похоронены семеро из девяти человек. Студенты архитектурного факультета минского Политехнического института предложили сделать проект мемориального комплекса, а одесситы – издать на «Эре» сборник Круппа, чтобы средства от его реализации использовать для воплощения этого замысла. Сделали они это очень оперативно. Назывался сборник «Следы». Там была единственная повесть Арика «Со мной ничего не случится» – в своё время я давала тетрадь с рукописной повестью Светлане Климович для перепечатки – и стихи самых известных семидесяти песен Круппа. Огромный тираж был разослан по всем городам, и, конечно, львиная доля попала в Минск. Все желающие получить сборник записывались у Саши Чуланова. Списки составлялись по организациям, академическим институтам, турклубам. Когда Ляля позвонила Чуланову и сделала заявку на пятнадцать экземпляров для себя и своих друзей, он ответил ей, что принимает заявку при одном условии: сборник не должен попасть в руки Мнацакановой, то есть ко мне. На что Ляля ответила:

– Если вы не дадите сборник для Нади, я отдам ей свой собственный экземпляр.

Вся эпопея с одесским изданием Круппа была грандиозной по масштабам и, конечно, абсолютно нелегальной. «Самиздат» по тем временам преследовался властями, но известность Круппа в Белоруссии была столь велика, что на инициативу одесситов, к счастью, посмотрели сквозь пальцы.

Я тоже радовалась, пока сборник не оказался у меня в руках и я не сунула в него нос. Нужно сказать, что после гибели Арика у меня не осталось его стихов на бумаге: блокнот с рукописным вариантом оказался у его сестры, а единственный машинописный экземпляр он незадолго до последнего похода отдал своей знакомой, Лере

Мамонтовой, и она сама предупредила меня об этом ещё в Совете по туризму, заверив, что непременно вернёт. Но, естественно, «городские друзья» сделали всё, чтобы он не попал мне в руки. И, оставшись без стихов Круппа, я всё время слушала его песни на плёнках. Много и часто. Пропиталась насквозь. Слова будто врезались в невидимые матрицы у меня в голове и в душе. Поэтому малейшее вранье в долгожданном сборнике стучало меня, как молоточек невропатолога. Две с половиной сотни искажений на семьдесят поэтических текстов – это, конечно, многовато. Потом выяснилось, что за исходным материалом для сборника одесситы обратились – к кому же ещё? – к Чуланову. Недолго думая, Саша отдал тот самый единственный машинописный экземпляр, который был у Леры Мамонтовой, на копировку безграмотной, непрофессиональной машинистке (не хочу называть её фамилию), которая сделала это безвозмездно, за что ей честь и хвала. Но ни Саша Чуланов, ни одесситы, которые ему полностью доверяли, не удосужились ни сверить с оригиналом экземпляр, который они собирались размножить громадным тиражом, ни просто вдумчиво прочесть его. Даже этого было бы достаточно, чтоб возникла масса вопросов.

Не желая быть голословной, приведу несколько примеров. Часто это была замена одного слова на другое: иногда яркого, точного – на стёртое и безликое (это ещё полбеда!), но чаще – замена, которая делала Круппа невеждой. «Лето так далеко – девять тысяч километров» (от Кольского полуострова). Конечно, можно петь и так. Но ведь Арик – то достаточно грамотен, чтобы знать, что от Кольского до лета – не тысячи, а всего лишь сотни километров. Конечно, у него – «девять сотен километров». Иногда авторские слова заменялись как бы более красивыми, более эффектными, но смысл от этого мельчал непоправимо: «Не верь пословице, что правды нет в ногах,

её там больше, чем в изысканных словах». А у Арика: «...её побольше там, чем в искренних словах». В «изысканных» словах вообще редко бывает правда, и вряд ли Арик стал бы по этому поводу ломать копья. А вот в «искренних» словах правда должна быть по определению, хотя и там её меньше, чем в ногах–трудягах, которые ходят по земле, – вот что он хотел сказать. Иногда одна–единственная буква меняет смысл на противоположный. Например, в «Чёрных совах»: «Ну, не добрали мы в жизни почестей, но не добра ли от жизни хочется?» Частица «ну» выражает снисходительное, даже пренебрежительное отношение к «почестям»: ну, не добрали – и фиг с ним... А попробуйте вместо «ну» поставить «но», как это напечатано в одесском сборнике, – и сразу «почести» становятся для автора важными и весомыми.

Ребятам, которые поют песню у костра, это простительно, а вот работнику культуры, который готовил к изданию (пусть даже самодеятельному) сборник своего якобы друга, думаю, нет. Тем более что этим поступком он и определил, как будут петь песни Арика последующие поколения.

Я до сих пор боюсь ходить на вечера памяти Круппа, потому что там меня каждый раз бьёт по голове одна и та же, на мой субъективный взгляд, самая страшная ошибка, которая берёт начало в одесском сборнике.

И вновь, как встарь, невыносимо
я свободен,

Хоть песни пой.

И внешне для нырков как будто снова
годен

В любой запой.

Машинистка, конечно, не могла напечатать про «запой», она «выправила» и напечатала «забой», сделав из Арика

шахтёра. И так все поют вот уже тридцать лет. Я прихожу то в уныние, то в ярость. И тут же рядом: «Твои слова, твоё дыханье, твои руки...» Но нет – вместо «слов» таинственным образом всегда появляются «глаза». Как заколдованные! И всё это из одесского сборника. Есть люди, которые считают, что всё это мелочи. Мне же кажется, что именно эти «мелочи» больше, чем что–нибудь другое, вскрывают отношение к памяти человека.

В связи с тем что произошло, мне пришлось много думать о феномене туризма в нашей стране.

Давай поговорим о городах.
Давай с тобой придумаем весы:
на чашу бросим серые года,
А на другую – радости часы.

Давай поговорим о доброте...

Читала ли я повесть Круппа, слушала ли его песни – всюду искала ответ на один и тот же вопрос: что заставляет их уходить? Одни гибнут, а другие идут на то же самое место. Почему? У Круппа много ответов на этот вопрос – и в повести, и в песнях, и в письмах. Но всё это – то, что над землёй: кроны, ветви, листья. А есть ещё корни. Вот они–то меня и интересовали. Я хотела знать, почему я потеряла любимого человека. Думала, анализировала и пришла к чётким, однозначным выводам. Позже я изложила их в предисловии к сборнику Круппа. Позволю себе привести цитату, отвечая на вопрос, что же такое туризм:

«...Это неосознанная, скрытая форма социального протеста. По крайней мере, так обстояло дело у нас в шестидесятые и семидесятые годы. Уходя из города в горы, в тундру, в лес, они выпадали из социума и

создавали собственную модель общества по своим законам нравственности, где каждый человек стоил ровно столько, сколько он стоил, где все они получали полной мерой и полной мерой отдавали себя – всё по самому большому счёту. Где в человеке отступало всё мелкое и открывалось всё самое человеческое и настоящее, ибо таков закон выживания в тех условиях, которые они добровольно выбирали себе на месяц отпуска».

Среди фотографий Круппа есть всего несколько «городских», и Арик на них – совсем другой человек. Там, где он в штормовке, в тельняшке, в лесу, с рюкзаком или с гитарой, он открыт, «развёрнут», глаза сияют – он в своей тарелке, в своей стихии, он красив и интересен. А на городских фотографиях он как бы случаен, неуместен. Вот он где-то в президиуме или жюри сидит рядом с Лялей Фрайтер, вот ещё одно жюри: журналистки Светлана Климкович и Тамара Реутович, а рядом – трое ребят с гитарами: один по-деловому пишет свой репертуар, другой сидит, по-хозяйски развалившись, и надменно смотрит в зал, а на краешке, ссутулившись, – Арик. Ничего не выражающий взгляд. Вот он с гитарой в общаге, на фоне железной спинки собственной кровати, в глазах – тоска зелёная. Вот кто-то из друзей женится, молодые с гостями выстроились на фоне здания ЗАГСа, и где-то сбоку – такой маленькой приставочкой, в мешковатом костюме, в неестественной стойке, с хмурым лицом, будто случайно здесь оказавшийся Арик. И только две фотографии хороши: «бородатая» серия, принесённая Игорем Коваленко, – Арик только что вернулся из похода, даже бороды сбрить не успел и ещё находится в том состоянии, в котором жил целый месяц, и последняя фотография перед уходом в Саяны, сделанная в моё отсутствие и переданная мне одним из «лесных» друзей Арика, Луниным, – на ней он прекрасен, потому что мысленно – уже в Саянах: глаза устремлены туда, губы чуть тронуты

улыбкой, сидит спокойно, расслабленно, руки–лебеди на коленях.

В голове моей созревала идея фильма о туризме, построенного на песнях Круппа. И я стала собирать материал. Просмотрела множество личных фотоархивов, отобрала сотни фотографий – благо у меня была первоклассная ассистентская школа. Вызвала из Москвы своего давнего замечательного друга кинодраматурга Лёню Гуревича, дала ему послушать все песни Арика, выложила перед ним все собранные фотографии, и мы вместе сконструировали десятиминутный документальный фильм о туризме, где вместо авторского текста были песни Круппа. Фильм был построен так, что мыслящий зритель неминуемо должен был прийти к тому же выводу по поводу туризма, к которому пришла я. Лёня, как профессионал, написал заявку на сценарий для нашего будущего фильма, и мы сдали её в редакционный отдел ПТО «Летопись».

С тех пор как ушла Галя, только Валентина Николаевна спасала меня от одиночества. Она жила в небольшой комнатухе, которую ей дала студия, и много времени проводила у меня. Даже не представляю, что бы я делала, если б не она. Благодаря ей я выживала и медленно зализывала раны.

Наконец пришла открытка от Светланы: она была уже в Минске, устраивалась с работой и жильём и обещала скоро быть. И хоть я ждала её, она появилась неожиданно. Высокая и стройная, как соломинка. Нет, она вовсе не была красавицей: узкое лицо, светлые волосы, чёлка до бровей, в глазах смешинки – ничего особенного, но была в ней какая–то изюминка, трепетная сокровенность, будто она – из нашего детства... Я полюбила её. И ещё стократ заужала Круппа за то, что за внешней неброскостью он сумел разглядеть в ней всё, что не любить было невозможно. Как я его понимала! Светлана сразу вылечила

меня от комплекса, рождённого в моём подсознании от того, что кто-то из городского окружения Арика меня не жаловал.

– Они и меня ненавидели! Ну, хорошо, ко мне они плохо относились якобы за то, что я не любила Круппа. А к тебе за что? Да они любую женщину возненавидят только за то, что её полюбит Крупп. А что касается сплетен, то ты должна, так же как я, выработать внутри железный иммунитет. Раньше я тоже плакала... А теперь – теперь я им не по зубам. И ты должна научиться тому же.

Ни у меня, ни у Светы не было телефона, и, живя в одном городе, мы с ней перебрасывались почтовыми открытками. Она сообщала нам о своём очередном появлении, и мы с Диной, а зачастую и с Валентиной Николаевной, с нетерпением ждали её и проводили вместе тёплые, радостные вечера. Светлана обладала особым секретом приносить радость. Мне казалось, что это связано с её именем. Ах, как я понимала Круппа!

Но иногда она исчезала. Не писала и не появлялась по месяцу и больше. Я терпеливо ждала. Иногда мне казалось, что потеряла её навсегда. Она возвращалась, я ни о чём не спрашивала. Казалось, у неё есть какая-то тайна, и я боялась к ней прикоснуться. Я только знала, что она очень счастлива в семье и больше всего на свете боится это потерять.

Заказной «боевик» был благополучно сдан, и я запустилась с документальным (наконец-то!) фильмом с непостижимо идиотским названием «Агрохимия на службе сельского хозяйства» или что-то в этом роде. Сценарий был ни о чём: проезды по колхозным полям, учёные разговоры в Институте почвоведения, пробирки в лаборатории, какие-то диаграммы... Причём тут документальное кино, я понять не могла. Ни одного интересного человека, ни одной проблемы. О чём фильм?

Не уверена, что на этот вопрос мог бы ответить автор сценария, который жил в Москве и уже получил все причитающиеся ему на тот момент деньги. Мне предстояло сделать то, что обычно делается в таких случаях, – выбросить в урну литературный сценарий и заново придумать фильм. Механика этого «придумать» в документальном кино такова: найти интересного человека, «расколоть» его под камеру, которая не должна быть заметной, чтобы не мешать непринуждённому разговору и естественному поведению героя, – разговорить его так, чтобы он выложил все сокровенные и волнующие его проблемы, потом снять под этот синхрон весь необходимый материал, привлечь талантливого драматурга, который гениально выстроит картину, напишет авторский комментарий и получит за это... всего двадцать пять процентов сценарного гонорара, законно положенные автору дикторского текста, потому что пятьдесят процентов уже получены автором принятого к производству и выброшенного в урну литературного сценария, а в двадцать пять, которые он ещё должен получить после сдачи немого варианта, он вцепится зубами и ни за что их не отдаст под страхом чего угодно...

Как находили сценаристов для плановой документальной единицы и как принимались их сценарии, я тогда понятия не имела. Но зато должна была найти драматурга, и притом талантливого, который сделал бы сто процентов авторской работы за двадцать пять процентов оплаты. На такие «жертвы» мог пойти только друг. И такой друг был. Конечно же, Лёня Гуревич. Всеобщая выручалочка, скорая помощь. Человек, умевший и любивший помогать, обладавший великим даром умирать в других, рождённый быть художественным руководителем, находить темы для фильмов, подкидывать идеи, устраивать творческие судьбы, а порой – спасать, казалось

бы, совсем безнадёжный материал – причём всё это не жалея живота своего.

Оставалось получить согласие официального автора сценария на приглашение Гуревича для «написания дикторского текста». Я съездила в Москву, где была принята маститым кинодраматургом в его фундаментальном кабинете, обласкана и накормлена, после утреннего поезда, завтраком, приготовленным его женой. Автор был неглупый человек, он знал цену своему сценарию, понял меня с полуслова и был согласен на всё.

Я разыскала в Чертаново первую собственную квартиру Гуревича и застала его, как всегда, на кухне за старенькой пишущей машинкой, которую знала уже около десяти лет. Всё привычно: залысины, седеющие волосы, единственные глаза, которые, как мне казалось, болели за весь мир...

Выслушав мой рассказ, Лёня вздохнул:

– Живы будем – не умрём. Вызывай – приеду.

Прямо перед ним, на стенке, висел, пришпиленный кнопкой, маленький листок, вырванный из блокнота. На нём рукой Гуревича было написано: «Господи! Помоги мне принять то, что я не могу изменить, дай силы изменить то, что смогу, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Джон Стейнбек».

На улице был август, исполнилось полгода, как погибли ребята, и родители Арика приехали в Минск получить страховку за сына. Они остановились в знакомой квартире на бульваре Толбухина, чтобы устроить там прощальный вечер для его «городских друзей». Так удачно сложилось, что в тот день я с утра уезжала в белорусскую глубинку искать героев для своего фильма и присутствовать на этом застолье не могла, что избавило родителей от дилеммы: как сделать, чтобы и меня не обидеть, и друзьям Арика угодить. Получив страховку, они подарили мне сто рублей,

сказав: «Купи себе что–нибудь на память об Арике». Я купила обручальное кольцо.

Мы ехали на «газике» в Полесье. Вёз меня туда сотрудник Института почвоведения, вёз в знакомый ему колхоз, к знакомому председателю в надежде на то, что я захочу его снимать. Я объяснила, что мне прежде всего нужна интересная личность: найду такого человека – есть сердце фильма. Не найду – никакие передовики производства и даже герои труда фильма не сделают.

В гостеприимном председательском доме нас ждали чуть ли не праздничный стол, приветливая моложавая хозяйка, ну и, конечно, немного смущённый председатель, красавец–мужчина лет около пятидесяти, Анатолий Дубовский. Друзья за столом «вспоминали минувшие дни», а я внимательно слушала, всматриваясь в лицо хозяина, пыталась представить это лицо на экране, который тут же гас, потому что там нечего было смотреть – вокруг него не возникал мир, который был бы мне интересен. Я понимала, что воздушный шарик надежды лопнул и искать придётся в другом месте. Мы уже собирались уходить, как мой гид, явно между прочим, спросил:

– А как поживает Алексей Яковлевич?

– Он совсем отдалился от нас, – ответила жена председателя, – ушёл в литературу. Стихи начал писать.

Что–то у меня внутри щёлкнуло – гончая почуяла след: она всё ещё жила во мне со времён ассистентской работы.

– Кто такой Алексей Яковлевич?

– Волчок. Наш бывший главный агроном.

– Почему – бывший?

– Да вот уж два месяца, как уволился по собственному желанию. Теперь вот стихи пишет...

Гончая взяла след:

– А его можно увидеть?

– Конечно, он живёт рядом, – снова ответила женщина.

Муж опустил глаза, а мой гид из Института почвоведения явно заёрзал.

– Давайте в следующий раз, Надежда Николаевна. Уже поздно, да и потом – Алексей Яковлевич уведёт вас совсем в другую сторону от нашей темы. Мы специально приедем сюда снова...

Но гончую было уже не остановить:

– Я никуда не уеду отсюда, пока не поговорю с Волчком.

Мы падошли к дому у самой реки, где клином зеленела небольшая берёзовая рощица.

– Сам посадил, – кивнул на берёзки мой гид, – когда умерла сестра Аня. В память о ней.

Волчок выглядел ещё молодым, хотя я знала, что ему далеко за сорок. Был он высокого роста, сухой, жилистый и бронзовый от загара. Но главное – когда говорил, у него вспыхивали глаза. Я сказала, что мы делаем фильм о проблемах сельского хозяйства, и спросила, не хочет ли он поделиться с нами своими заботами. В ответ, без всяких предисловий, Волчок обрушил на меня целую тираду:

– Всё начинается с руководителя! Если он в своей работе не идёт на риск, что же это за самостоятельная работа?! Вот вы: отнимите у вас право на творческий поиск, что же вы в таком случае за режиссёр? Если поставить человека в заранее заданные рамки – и что же? Это уже ремесло, а не творчество!

Я поняла, что фильм у меня в кармане. Мне чудовищно повезло! Теперь главное было не разбазарить этот клад и сохранить его до поры до времени.

– Стоп-стоп-стоп! Всё, что вы говорите, чертовски интересно! Но я не могу быть эгоисткой: я ведь делаю фильм не одна – у нас целая группа, и они тоже должны всё это услышать. Договариваемся так: вы приезжаете к нам в понедельник, я заказываю пропуск и встречаю вас в вестибюле. В двенадцать вам удобно? Замечательно!

На обратном пути мой гид – он же и консультант фильма – почти всю дорогу молчал. И только перед самым Минском спросил:

- А вы уверены, что Волчок – то, что вам нужно?
- Конечно! Считайте, что у нас сегодня был удачный день.

Снимать фильм в качестве оператора я вызвала Игоря Моргачёва, с которым вместе работала в Свердловске и на «Киргизфильме». У него были уникальные мозги, хороший вкус и единственная в своём роде система сигнализации для документальных синхронных съёмок, сделанная им ещё в Киргизии для грандиозного фильма «Оглянись, товарищ!», так никогда и не увидевшего экрана по воле киргизского ЦК КПСС.

К намеченному понедельнику всё было готово. Приехал Волчок. Мы усадили его в кресло, и вот тут–то началось непредвиденное. В моей практике не встречалось столь закомплексованного человека. Он закрыл глаза темными очками и сказал, что не будет отвечать на наши вопросы, пока мы не выключим лампы: он приехал сюда поговорить, а не сниматься. С тёмными очками я справилась легко – просто попросила их у него посмотреть и не вернула до конца съёмки. У камеры сидел ассистент оператора, а Игорь вместе со мной должен был беседовать с Волчком. Но Волчок, как мы его ни упрашивали, что мы ему только ни говорили, посмеивался и стоял на своём. Казалось, съёмка уже не состоится. И тут я разозлилась. Попросила выключить свет и обрушилась на Волчка:

– А я–то думала, Алексей Яковлевич, что вы серьёзный человек! Мы ведь делаем свою работу, а вы нам мешаете. Сидите и капризничаете, как ребёнок. И после этого вы хотите, чтобы я вам поверила, что вы болеете за судьбу сельского хозяйства? Да вы только об одном думаете – как бы на экран не попасть! Я поняла так, что у вас серьёзные

проблемы – уволились вы потому, что ваше отношение к работе не совпало со взглядами начальства. Так давайте разберёмся – что же мешает нашему сельскому хозяйству процветать?

Волчок, слушая меня, продолжал молча посмеиваться, и это меня окончательно взбесило:

– Да вы просто болтун! Мы же готовы вам помочь. А вы?

– Ладно, делайте, что хотите! – Волчок энергично махнул правой рукой, на которой у него вместо кисти была клешня из большого и указательного пальцев – все остальные снесло снарядом, когда ходил в разведку во время войны.

Игорь дал осветителям знак включить свет, но Волчок уже ни на что не обращал внимания. вы спрашиваете, в чём корень всех наших проблем... Это ведь не только наши проблемы. Э

– Вот то главная проблема нашего государства. В любой области! Ведь что такое идеальное общество?

Наша камера, естественно, работала на полную катушку. Моргачёв переживал счастливые минуты. А Волчок продолжал:

– Идеальное общество – это такое общество, где каждый человек находится на своём месте. Поставьте всех на свои места – и всё! – Глаза у Волчка вспыхнули, рука с культёй взлетела вверх. – Материальные блага валом повалят в государство, так что там, наверху, – указующий перст устремился к потолку, – не будут знать, что с ними делать: то ли сжигать, то ли в море бросать... А если человек не на своём месте, разве он может создать материальные блага?

«Юпитеры» палили, никто не замечал жары – все слушали затаив дыхание, хотя человек не открывал америк – он говорил очевидное. Смею напомнить, что был 1971 год, и такие речи, мягко говоря, были опасны: почти вся

партийная номенклатура сидела не на своих местах и работала не по призванию.

– То же – и в сельском хозяйстве, – тянул свою мысль Волчок. – Если у тебя нет любви к нему, ты непременно станешь обузой. Ведь специфика его такова, что требует творческого подхода. Сотня вариантов – а надо выбрать один! Когда я был агрономом, то не мог экспериментировать столько, сколько было нужно, чтобы двигаться вперёд. Я лишён был права на риск!

– А вы считаете, что руководитель какого-то определённого участка или всего хозяйства в целом имеет право на риск?

– А как же? Творчество, поиск всегда связаны с риском. Иначе мы будем стоять на месте. Любой эксперимент содержит в себе долю риска. Другое дело, что эксперимент должен быть научно обоснован. Одним словом, я считаю, что руководитель имеет право на самостоятельность в работе. Ну, вот вы, творческие работники... Я ведь вас уже спрашивал, сможете вы работать, если вас поставят в какие-то тесные рамки?

Я только вздохнула...

– Так же и в сельском хозяйстве. Призвание тут нужно не меньше, чем в работе учителя, врача или режиссёра. Призвание нужно везде – снизу доверху!

В павильоне была абсолютная тишина. Мне показалось, что тема исчерпана и наступила естественная пауза. Я уже хотела было остановить камеру, но тут Игорь задал вопрос:

– Значит, вы считаете, что главная цель руководителя – обеспечить людям определённый уровень материального благополучия?

Глаза Волчка вдруг снова вспыхнули.

– В самое яблочко вопрос! Что первично – бытие или сознание? Материя или дух?

Теперь глаза заблестели у Игоря.

– Достичь высокого жизненного уровня нетрудно, – продолжал увлечённо Волчок. – Это всего лишь дело техники. Нет, другое меня мучит. Есть проблема, которую решить гораздо труднее. Вот вы, грамотные, многознающие люди, инженеры человеческих душ, объясните мне – как с ростом благосостояния сохранить духовное богатство людей? Как? Как сделать, чтобы увеличение заработка не увеличивало выпивку, чтобы рост материального уровня не породил бы в людях равнодушия? Не привёл их к сытости? Что сделать, чтобы сохранить *песню* в душе человека? Кстати, вы заметили, – как только люди достигают определённого материального достатка, они перестают петь? Почему?

– Уж не считаете ли вы, что лучше перебиваться с хлеба на квас, но с песней? – не удержалась я от провокации.

– Нет. Однако, согласитесь: у нас уже входит в привычку счастье человека мерить количеством заработной платы, телевизорами и холодильниками, коврами и прочим барахлом, которое приходится на душу населения. А между тем чуть ли не главным мерилom человеческого счастья я считаю то, как часто человек улыбается. Шутка и смех – это важные экономические показатели. И песня – тоже. Природа не дала других показателей счастья. Я ведь помню, даже во время войны – люди преодолевали такие трудности и всё–таки были счастливы, потому что влюблялись, пели песни, верили и надеялись. Видимо, для счастья необходимо постоянное присутствие в жизни человека перспективы, мечты, надежды.

Вот так!

Волчок наговорил нам на два одночастёвых фильма.

Работа спасала меня. Но как только я возвращалась домой, не было ни перспективы, ни мечты, ни надежды.

Страшная реальность снова обступала меня. Мне советовали поменять обстановку, переехать на другую квартиру. Но я и этого не могла. Всё здесь напоминало мне об Арике. В этой комнате начиналась прекрасная жизнь. Будто обрезали киноплёнку и сожгли всё, что было впереди. Я могла сколько угодно мысленно прокручивать сгоревший кусок, восстанавливая его по нашим мечтам и планам, но знала, что всего этого уже никогда... никогда... никогда... не будет.

Одна и та же картина всё время всплывала перед глазами: Арик, Динка и я, абсолютно нагие, стоим, обнявшись, на прозрачной льдине, которую уносит в неизвестность. Мы вместе, и ничего... ничего... ничего больше не нужно. Это виденье возникло, как воплощение несбыточной и счастливой реальности, оно родилось из жгучего желания отдать всё, весь материальный мир, за возвращение жизни Круппу... Боль нематериальная перерастала в материальную. Валя и Светлана стали моими сёстрами милосердия. Но они уходили, и мы с Диной оставались в нашей «мансарде» вдвоём. А когда она засыпала, я была одна. И начиналось самое трудное... Сон бежал от меня – я пыталась читать. Глаза скользили по строчкам, но мысли оказывались далеко. И снова прозрачная льдина... Так помучив несколько раз одну и ту же страницу, я откладывала книгу и бралась за шитьё. Работала до тех пор, пока не начинали слипаться глаза. Это случалось обычно под утро. А в четвёртом часу мой хозяин просыпался и выходил на крыльцо по малой нужде. Стоило ему лишь поднять голову вверх, чтобы увидеть мои светящиеся окна. Наутро хозяйка устраивала мне скандал – я много «жгу электричества». Пыталась ей объяснить, что не могу иначе. Предложила платить полностью за всё электричество в доме или поставить себе отдельный счётчик – всё было напрасно. Она хотела, чтобы мы съехали.

Выручила Ева Львовна: её коллега по институту согласилась сдать мне комнату своей свекрови, которую она решила забрать к себе на то время, пока её муж учил воевать вьетнамских пилотов.

Комната была просторная, на первом этаже, в двухкомнатной квартире обычного панельного дома. Соседка оказалась покладистой и позволила мне самой платить за электричество – по тем временам это были копейки. Наш новый дом был далеко от студии, но зато близко от Ляли.

Уезжая из сельхозпосёлка, я бросила Светлане письмецо – она давно не появлялась. И получила ответ:

...Всё это время нахожусь в каком-то стянутом состоянии. И знаю, что потом расскажу тебе всё, а сейчас просто не могу. Получила твоё письмо с новым адресом и испугалась, что ты и в самом деле можешь больше не писать и постараться меня забыть.

Всё в общем-то совсем не так. Я так же, как и прежде, хочу тебя видеть, но не могу решиться это сделать... Хожу по городу, работаю, встречаю очень многих людей – и всё вспоминаю. Часто ловлю себя на том, что вижу Арьку в том или в другом человеке. В душе беспокойно и тяжело. Прости меня, пожалуйста, за невнимание к тебе и, если можешь, ещё немного подожди.

Света.

Она пришла, как всегда, с радостью и весельем на лице. Учтя, что теперь есть газовая плита, принесла полуфабрикат какого-то печенья, и мы занялись кулинарией. Как с ней было легко и хорошо!

– Знаешь, что о нас говорят «подруги» Арика? «Спелись две проститутки».

Мы посмеялись. Было даже приятно, что они объединили нас вместе.

Вернулась Дина, и мы втроём провели замечательный вечер.

Однажды Ляля сказала, что нужно зайти в Совет по туризму – там привезли из Саян какие-то вещи... Я зашла. Инна Иосифовна вытряхнула на пол содержимое огромного мешка, и я выбрала там несколько одежек Арика. Среди них были и его лыжные брюки. Дома Дина померила их, сунула руки в карман и вытащила записную книжку. В ней были адреса друзей, на первой страничке – аккуратно переписанный с листочка Нели Корсаковой список долгов, а к задней корочке канцелярской скрепкой пришпилены три маленьких календарика за три последних года и моя телеграмма из Ленинграда. Вот почему её не оказалось в бумагах Арика!

Наконец получили из лаборатории материал нашей первой синхронной съёмки. Волчок был великолепен! Яркая, талантливая личность, человек с государственным мышлением, философ, поклонник красоты, атеист с Богом в душе и «без зубов».

По внешним параметрам он был неудачник... В родном колхозе имени Чкалова пожертвовал учительской карьерой, чтобы помочь своему другу, председателю колхоза Дубовскому, дела у которого шли из рук вон плохо. Занявшись самообразованием, стал главным агрономом, добился блестящих результатов, был представлен к званию Героя социалистического труда, но звания не получил: «некому» было оформить документы, пока Волчок был в отпуске. Вернувшись, он, конечно, и пальцем не шевельнул, чтобы что-то изменить. На следующий год звезду Героя получил сам Дубовский. А Волчок в конце концов подал заявление – «по состоянию здоровья». Дубовский же, проработавший с ним больше двадцати лет, не глядя подмахнул. Как только Волчок уволился, его

вызвали в райком партии и предложили на выбор: отстающий колхоз или нерентабельный совхоз. Он ответил, что готов взять совхоз и обещает сделать его не только рентабельным, но и прибыльным при одном условии: если ему позволят распоряжаться фондом заработной платы, как он считает нужным. На это ему ответили, что он пока ещё тут, а не *там*.

Таков был схематичный портрет нашего главного героя.

Чтобы интереснее выстроить драматургию, мы решили найти другого руководителя – прямую противоположность Волчку, человека успешного, со всеми орденами и регалиями, хозяина жизни, авторитарного руководителя, жёсткого и крутого. Такого председателя колхоза я нашла рядом с Минском – колхозная усадьба стояла прямо на окружной дороге. Синхронную съёмку провели у него в кабинете. В том же колхозе сняли и торжественный ритуал – «дожинки»: самый видный и самый передовой комбайнёр, белокурый красавец, богатырь, похожий на киноактёра Сергея Столярова, сжал с поля последнюю полосу пшеницы – всё это с флагами, цветами, пионерами, которые встречали его комбайн в усадьбе, и всё это не было организовано для съёмки, а проводилось ежегодно – мы чуть не опоздали к событию. А в Доме культуры тем временем готовили праздник урожая: женщины пекли каравай из новой муки и накрывали длинные ряды столов. Всё это мы сняли: и чествование комбайнёров, и разрезание главным из них, белокурым богатырём, огромного затейливого каравая. Сцена была забавная: парню дали длиннющий нож, и, оказавшись перед чудом кулинарного искусства, он не знал, как к нему подступиться – понятно, что ему куда привычнее было сидеть за штурвалом комбайна, чем делить каравай. Наконец он с трудом отрезал увесистый ломоть и протянул председателю – тот впился в него зубами.

В этом же колхозе мы сняли проводы мальчиков в армию. В те поры ещё не было ни дедовщины, ни Чечни, все обязательно возвращались домой, возмужавшими и окрепшими. Провожали с достоинством, уходили радостно. Эпизод получился эмоциональный и красивый. Раскопали в фонотеке старинный вальс и, когда «подложили», сами чуть не плакали.

И наконец, нашли третьего героя – три точки, как известно, самая надёжная опора – пенсионера, бывшего председателя колхоза, который ещё помнил, как после войны «на бабах пахали». К сожалению, в моём архиве не осталось о нём никаких материалов, а я даже не запомнила его имени, но хорошо помню два эпизода, связанные с ним. Синхронную съёмку, как и с Волчком, проводили на студии. Игорь спросил:

– Вот вы прожили долгую жизнь. Скажите, в чём её смысл?

– В чём смысл? – переспросил старик. – Вот я вам сейчас покажу... – он полез рукой во внутренний карман какой-то поддёвки и долго пытался вытащить оттуда что-то. Рука никак не вынималась с зажатым в ней драгоценным грузом, а старик, кряхтя, всё пытался вытащить её из кармана. Это длилось так долго, что становилось неловко за него, и я уже готова была выключить камеру, но Моргачёв остановил меня. Наконец нашему гостю удалось вытащить руку, пальцы разжались, и мы увидели на ладони что-то, завёрнутое в потёртую, грязную тряпицу. Он развернул своё сокровище – то была стопка «корочек», он протянул их Моргачёву – читайте!

Игорь читал одно за другим – это были удостоверения: ударника, героя труда, депутата, участника, члена того-то и члена сего-то, ветерана, делегата и прочая, и прочая, и прочая... Толстая пачка потемневших от времени «корочек».

– В этом и смысл, – подытожил наш гость, которого мы уже успели полюбить. Славный старик, грузный, больной, с

одышкой. Рассказывал много интересных историй из своей нелёгкой председательской жизни. Помню одну:

– Едем мы как-то просёлком, грязь, колдобины... Лошадь остановилась, колеса увязли. Возница молодой был – кнутом её! Лошадь – ни с места. Он разъярился – ещё сильнее кнутом. «Стой! – кричу. – Стой! Битьём не достигнешь. Лаской!..» Встал, подошёл к лошади, за ухом у неё почесал – они любят, когда за ухом чешут, – по холке ласково так похлопал... «Но-о, – говорю, – пошли, родимая, пойдём...» Лошадь подняла копыто из грязи и пошла... Так вот и с людьми. Битьём не достигнешь.

Мы сняли его на конюшне с лошадьми. Этот эпизод стал одним из лучших в нашем маленьком, десятиминутном фильме. Потом сняли всё, что ещё задумали, и когда весь материал был полностью получен из лаборатории, мы с ассистенткой Оленькой перенесли всё на бумажные карточки, чтобы на большом биллиардном столе выложить будущую картину. Пришло время вызывать Гуревича. Два ума – хорошо, а три – лучше.

Работать с Лёней было наслаждением. Он помнил каждый увиденный кадр, находил не один, а сразу несколько смыслов в каждом эпизоде и придумывал монтажные стыки, которые не только безошибочно били по эмоциям, но и заставляли думать, рождали ассоциации.

Все три дня, на которые вырвался Гуревич, мы безвылазно провели в монтажной. Фильм получался не только интересный и эмоциональный, чуть-чуть грустный, но и очень красивый, изящный, почти изысканный по форме. Назвали мы его «Урожай». Это был фильм о творчестве. Я шалела от радости, которую мне не с кем... не с кем... не с кем было разделить. Не было Арика, и некому было показать... Могла ли я думать, что мой режиссёрский дебют в документальном кино окажется таким жемчужным?.. Мне легко об этом говорить, потому что я не считаю это своей заслугой – просто я собрала

людей, каждый из которых талантливо сделал свою часть работы. И ещё меня радовало то, что моему шефу, Борису Константиновичу Сарахатунову, не будет за меня стыдно. Ведь в объединении меня все справедливо считали его протеже.

Но где-то на задворках сознания таилась мысль, что такой фильм был бы обычным в Киргизии, где ещё в середине шестидесятых утвердила себя новая в те поры школа документального кино, однако он совсем не обычен здесь. С тех пор как тут разогнали интересных молодых режиссёров, таких как Никита Хубов и Петя Мостовой, документальные фильмы делались примерно такого толка, как «Бронзовый солдат» моего шефа, для которого я полгода отбирала хронику в Красногорске.

Лёня написал очень короткий авторский комментарий и сам же его прочёл. Это тоже была удача, потому что мне не найти было бы ни одного диктора с простым человеческим голосом.

До предварительной сдачи (на двух плёнках) оставались считанные дни. Сроки всегда были жёсткими, и последствия от их срыва – более чем неприятными, вплоть до задержки зарплаты всему коллективу. Работать приходилось чуть ли не сутками. И в это время заболела Валя. Грипп. Я выбралась к ней лишь на третий день, когда смогла всё оставить на монтажницу. Два первых, самых тяжёлых дня болезни Валентина Николаевна провела в одиночестве. Теперь она не хотела меня видеть. Причём так решительно, что я даже не пыталась ничего объяснить. Ещё одна потеря. Я больше не хочу вести счёт. Кто следующий?

Моя мама говорила: «Беда никогда не приходит одна». Я понимала это так: стоит сорваться одному камешку в горах, как он увлекает за собой другие, и начинается камнепад. Лишь спустя годы я поняла, что первый камешек (камень!) не сорвался сам по себе – я сбросила его в

Джамбуле... Никогда в своей жизни – ни до, ни после – я не испытывала такого раскаянья, какое чувствовала, глядя на беспомощных родителей Арика.

Сдача «Урожая» на двух плёнках была назначена на три часа, а утром мы с монтажницей сами в последний раз смотрели свою работу. Когда в зале зажёгся свет, с кресла поднялся человек, которого я не заметила раньше.

– Кажется, у нас появился хороший фильм? Поздравляю!

Это был методист Дома кино Илья Резник. Он подрабатывал тем, что писал рецензии на новые фильмы в местную прессу.

– Стучите по дереву...

Он постучал о спинку стула.

Впрочем, волненья казались излишними: я не ждала никаких подвохов, и принимали–то всего – три редактора да мой шеф, он же худрук объединения, Сарахатунов.

Но после просмотра в зале повисло молчание. Мне не понравилось лицо Сарахатунова – оно было мрачным и насупленным. Ничего хорошего это не предвещало. По рангу первое слово предоставлялось редактору фильма.

– Ну что тут сказать?.. Главное – фильм получился. – Майя Михайловна явно осторожничала.

– До фильма тут ещё далеко! – подал голос редактор документальной секции Романов. – Товарищи! Давайте посмотрим на героев: только один из них соответствует этому слову. Другой – прожектёр, третий – полфильма не может вытащить руку из кармана...

Я украдкой посмотрела на Игоря – он удовлетворённо улыбался. Мне же было не до смеха.

– Да, это возмутительный эпизод, – сказал главный редактор объединения Гродников. – Просто насмешка над старым человеком. Его нужно подрезать!

– А ещё лучше – совсем выбросить. Что он нам показал интересного?

Если бы это сказал Гродников, я бы не удивилась. Но Романов ведь не дурак... Придуривается? Но вот и Гродников:

– А этот ваш прожектор – он кто? Агроном? А говорит, как законодатель. Свои правила жизни диктует – «снизу доверху»! Мы, дорогой товарищ, не при капитализме живём, чтобы продукты в море выбрасывать. И ещё: что это за музыка на проводах в армию? Неужели нельзя было найти что-нибудь повеселее?

Тут Сарахатунов, видимо, решил, что самое время ему вступить в игру. Он поднялся и повернулся лицом к присутствующим.

– Товарищи! Всем спасибо за помощь. Я должен сказать, что считаю себя ответственным... Это первая документальная работа Надежды Николаевны, и, вероятно, я должен был больше уделить ей внимания. Я думаю, что материал требует доработки и ремонта. Мы это, конечно, поправим. Завтра же я вместе с Надеждой Николаевной сяду за монтажный стол, и мы учтём все ваши замечания. – И повернулся в мою сторону: – Зайдите ко мне.

В кабинете он предложил мне сесть и, не поднимая от стола глаз, сказал:

– Ваш фильм, Надя, надо спасти. Ничего, я вам помогу.

– Я не вижу, что там надо менять. И не понимаю, чем им не угодил Волчок. Человек говорит правильные вещи: все должны работать по призванию, и каждый должен быть на своём месте.

– Да, но эти правильные вещи он говорит таким тоном и с такой страстной тоской, что каждому ясно, что в жизни у нас этого нет.

– А разве есть?

Сарахатунов посмотрел на меня долгим взглядом и ничего не ответил. Выдержав паузу, спросил:

– Может быть, вы хотите вынести свой фильм на худсовет? Пожалуйста, я могу.

Я с ужасом представила мельничные жернова нашего худсовета, на семьдесят процентов состоящего из старейших, самых заслуженных режиссёров...

– Нет. Не хочу. – Из двух зол я, казалось, выбрала меньшее.

– Кстати, почему у вас в титре не написано, в каком колхозе работает Волчок?

– Работал. Два месяца, как уволился по состоянию здоровья.

– Вы хотите сказать, что снимали безработного? Вы представляете, какие могут быть у нас неприятности?

– Стыдитесь, Борис Константинович! Человек двадцать лет работал агрономом, вывел колхоз из отстающих в передовые, был представлен к званию Героя социалистического труда, а вы говорите – «безработный». Такими кадрами не бросаются. Не пройдёт и месяца, как он снова будет работать.

– Обязательно держите с ним связь, и как только он получит работу, немедленно мне сообщите.

Когда на следующий день в монтажной я откровенно сказала Сарахатунову, что считаю конструкцию фильма оптимальной и ничего не хочу менять, он в сердцах воскликнул:

– С этой минуты я – режиссёр, а вы – мой ассистент. Будете делать, что я скажу. Я отвечаю за этот фильм.

Оставшись «ассистировать», я хотела сохранить то, что считала самым ценным – два синхрона: с Волчком и с бывшим председателем–пенсионером. Но очень быстро поняла, что Сарахатунов не собирается ничего выбрасывать. Он чуть–чуть подрезал «вытаскивание руки» – совсем чуть–чуть, он сам ловил кайф от этого куса –

подрезал, думаю, для того, чтобы потом сказать об этом, и занялся перестановкой эпизодов. Рушилась прекрасная и стройная конструкция. Поставленные абы как, эпизоды теряли смысл, уничтожалась всякая логика, всё стало случайным, а порой и невнятным. И уж, конечно, никакой красоты не осталось. В довершение всего он выбросил за ненадобностью концовку, и в последнем кадре фильма остался крупный план председателя, зубы которого погружаются в мягкую мякоть отрезанного от каравая ломтя. Такая концовка могла бы иметь место и даже быть интересной, если бы она была подготовлена логикой всего предшествующего повествования. Но тут она была случайной – хотелось спросить: «Ну и что?» – а финал оставлял впечатление обрубка. Представьте красивого человека, которому переломали хребет, сделали горб, вывернули руки, подбили один глаз и сломали ногу. Всё это и сделал мой шеф с моим фильмом. Я сказала, что не приду на перезапись:

– Это не мой фильм, я его не чувствую. Вы его сделали – вы и перезаписывайте.

В состоянии полного отупения ушла домой. Наутро проснулась от зуда. Всё моё тело распухло – я перепугалась и вызвала врача. Диагноз: аллергия на нервной почве. Четыре дня я пила таблетки и, сбрасывая с себя одеяло, раздирала кожу одежной щёткой. Только на пятый день смогла натянуть на ноги обувь.

Увидев меня в своём кабинете, Сарахатунов накинулся, сразу повысив тон, чего с ним никогда не бывало:

– Где вы были? Вы прогуляли четыре дня!

– Четыре дня я лежала распухшая, как поросёнок! И чесалась одежной щёткой!

Он смотрел на меня, остолбенев.

– А вы думали, что мне просто так сойдёт то, что вы сделали? Вы убили моего ребёнка! Моего первого ребёнка! Вы сделали из него Квазимодо! Вы – палач!

– А разве вы не знаете, что не все фильмы принимают? Я палач?.. В Свердловске – ваш любимый Розин, а «Шаговик» Галантера положили на полку.

– Розин потому и ушёл на вольные хлеба, что до последней минуты отстаивал и «Шаговик» Галантера, и «Директора» Илюши Горелика, и моргачёвское «Внедрение»! А вы? Что сделали вы? Вы даже не попытались сдать мой фильм! Вы даже не позволили мне сделать копию на одной плёнке!

– Я не только попытался, но уже сдал ваш фильм! И Белявский принял его с восторгом, он сказал: «Побольше бы нам таких картин! Очень полезный фильм».

Я опустилась на стул, не дожидаясь приглашения. Я обхватила руками голову. Я поняла, как он меня одурачил.

– Вы ещё скажете мне спасибо, когда остынете.

Я выскочила из кабинета.

Моя логика была проста. Если председатель Комитета по кинематографии принял фильм «с восторгом», значит, в нём нет никакого «криминала» – а ведь он ничего существенного для смысла из него не выбросил. Пострадала только форма. Но в форме Белявский ничего не смыслит – он и не представляет, каким красивым и внятным мог бы быть этот фильм. На него произвели впечатление синхронные куски, потому что они говорят сами за себя – в них жизнь. Получается, если б я показала ему первоначальный вариант, он принял бы его с ещё большим восторгом... И Сарахатунов это знал. Но он воспользовался идиотскими замечаниями редакторов, чтобы изуродовать наш фильм. Зачем? Это первое. И второе: он обманул не только меня, но и художественный совет, через голову которого прыгнул, показав фильм Белявскому. Теперь, когда известно мнение Белявского, сдача фильма на худсовете превратилась в пустую формальность. Вот так на четвёртом десятке, проработав в

кино восемь лет, я впервые столкнулась с подковёрной борьбой.

Так зачем же ему нужно было уродовать наш фильм? На этот вопрос ответил Игорь Моргачёв, рассказав восточную притчу. К могущественному визирю после учения в дальних странах воротился сын и спрашивает его: «Как тебе удаётся, отец, держать в повиновении столько подданных?» – «А вот я тебе сейчас покажу, как...» – Визирь берёт железную линейку, и они идут на прогулку в сад. По обеим сторонам дорожки цветёт персидская ромашка. Визирь лёгкими взмахами сбивает венчики с самых высоких стеблей. «Зачем ты это делаешь, отец?» – «А чтоб не высывались! Другие посмотрят на это и не будут так высоко расти. Понял мою науку, сын?» – Ты что же думаешь, Сарахатунов...

– А ты что думаешь – нужен ему здесь твой фильм в традициях «Киргизфильма»? Здесь были, есть и будут только «Бронзовые солдаты». Ты ещё не поняла, что твой Сарахатунов – обыкновенный гангстер и бандит? Он сказал тебе, что изменил название фильма? Теперь это уже не «Урожай», а «Запах хлеба».

Наше первоначальное название имело ещё второй смысл – человеческий урожай. А теперь, когда обесмыслилась вся картина, это уже не имело значения. Мне было всё равно.

...За свободный полёт – под колёса машин,
под подошвы людей, на асфальт или в грязь.
И гибнут видения синих вершин.
Далёких вершин.

Неужели Арик это тоже пережил?

И чтобы навсегда закончить воспоминание о моём профессиональном дебюте, – вот последний штрих. Прошло года два, ко мне как-то зашла моя знакомая, Надя Прищеп, студентка художественного факультета Минского театрального института. И с восторгом:

— Надя! Какой я фильм сейчас видела! Перед сеансом, вместо журнала. Пенсионер, всю жизнь проработал председателем колхоза и хочет показать киношникам, что он заработал за всю свою жизнь. Полез в карман... – и Надя стала рассказывать что-то ужасно знакомое и родное...

Я не сразу сообразила...

– Так это же мой фильм!

– Твой?

– Ну да, ещё в семьдесят первом делали... с Моргачёвым и Гуревичем.

– С ума сойти! Я никогда ничего подобного не видела...

И я поняла: сколько бы Сарахатунов ни корёжил наш фильм, документальный материал, который нам повезло снять, был настолько хорош, что работал сам по себе, несмотря ни на что – фильм крутили уже третий год.

Дина училась в своей старой школе, которая была недалеко от киностудии. После школы она приходила ко мне, я усаживала её в администраторской, и она делала уроки. А когда кончался мой рабочий день, мы вместе ехали домой. Однажды Светлана назначила нам встречу на почтовом отделении номер двенадцать – в двух-трёх остановках от студии. Мы зашли, как она велела, в отдел доставки и увидели там её и ещё одного молодого человека за странным занятием: на длинных столах, обитых жестью, они раскладывали газеты. Молодого человека звали Виктор. Это был её муж. Я удивлённо смотрела на юношу, почти мальчика, которого Света любила больше, чем Арика. Она говорила, что Арик был

для неё как любимый младший братишка, а Виктор – взрослый мужчина. Вот как субъективен бывает глаз... Для меня–то всё было наоборот! Светлана с мужем разносили «Вечерний Минск» – небольшой приработок к скудной итеэровской зарплате. Мы с Диной посмотрели друг на друга и поняли друг друга без слов. Жили мы трудно. Выплачивали долги за кооператив, а себе оставляли полуголодный прожиточный минимум. Дом строился медленно: то вода заливала котлован, то ещё там случались какие–то беды – казалось, конца этому не будет.

Взяли мы с ней на двоих один участок. Теперь после моей работы ехали не домой, а на почту. Сортировали газеты и, разделив участок пополам, расходились в разные стороны. Была зима, гололёд и сугробы. Однажды я задержалась, глядя вслед моей девочке. Её маленькая фигурка удалялась от меня, ссутулившись: за спиной – ранец, впереди – огромная пачка газет, и мне казалось, что она сгибается под их тяжестью. У меня сжалось всё внутри от любви и жалости. Я подумала: нет, лучше я буду сидеть ночами, шить на заказ, но видеть я этого больше не могу. Мы закончили этот единственный месяц, получив на двоих всего тридцать рублей – это за лазанье по сугробам по полтора–два часа каждый вечер. Нам, как новичкам, дали самый трудный участок – одноэтажные домики, по одной–две газеты в каждый.

Новая работа на студии мне не светила – после всего, что я наговорила Сарахатунову. Но я ни о чём не жалела. Было легче оттого, что всё высказала ему. Через несколько дней у меня начинался частичный простой. Это значит, что я каждый день появляюсь на студии, расписываюсь в «Книге прихода на работу» и ухожу. За это получаю шестьдесят шесть процентов зарплаты. Так может продолжаться три месяца. Потом – «нуль»: на студию не хожу и зарплату не получаю, идёт стаж, но я не могу уехать из города – на случай, если появится работа. В моём

положении главное – не дотянуть до нуля и продержаться до появления работы. А пока ничего не оставалось, как шить. Кроме долгов за кооператив, нужно было платить хозяйке за квартиру и покупать хоть какие-то продукты: Дина росла, быстро развивалась, а я не могла накормить её досыта. Старалась обязательно оставить ей какую-нибудь еду на завтрак, чтобы она не сидела на уроках с голодным желудком. Однажды оставила последнюю сосиску – она не выдержала и съела её вечером. Я ругала дочку за это и плакала...

В троллейбусе как-то встретила Лялю, и она подкинула мне пару клиенток. Я начала шить.

Светлана приходила всё реже, и однажды сказала, что пришла проститься. Нет, она никуда не уезжала – просто муж не хотел делить её со мной. Он до сих пор ревновал к Арику, и её уходы ко мне воспринимал как потери. Для Светланы семейный очаг был главным в жизни, и она приняла решение. Я ощутила это как удар в спину, но выслушала всё безропотно. Ещё одна потеря...

Маргарита Лонг писала: «Жизнь уносит, но жизнь и приносит». Неожиданно приехал Миша Чашкин, коллега, старый свердловский друг. Приехал как раз в тот день, когда в Минске был один из концертов, посвящённых памяти Круппа. Были барды из Москвы и Ленинграда, Валерий Боков и Володя Муравьёв из Казани. Миша ничего не знал и не слышал об Арике, ничего не знал о моём замужестве. Бывают такие друзья, с которыми можно, разъехавшись, долго не поддерживать связь, но когда встречаешься, будто и не расставался – время не властно. Чашкин был из таких. Лавина информации о Круппе сразу обрушилась на него. После концерта мы с Динкой спали, а Миша даже не прилёг – весь остаток ночи слушал на моей старенькой «Ноте» песни Арика.

В Минск он приехал в поисках работы. В своё время в Свердловске потерпел капитальное крушение, его лодка

дала трещину, и он не раз опускался на дно. И не раз я его спасала, хотя в глубине души чувствовала, что его уже не спасёт ничто. Меня звали Ариной Родионовной за то, что я с ним нянчилась. Кто-то у него в предках был цыганом, и, кроме бесшабашного, загульного характера, ему в наследство достались курчавая голова и цыганская смуглость. Поэтому я иногда слышала:

– Арина Родионовна, где же ваш Пушкин?

И отшучивалась:

– Уехал в Тригорское к Анне Петровне Керн.

Мне с трудом удавалось держать его на плаву. Как только я уехала, он тут же «сгорел».

Вот и теперь – я пошла к директору объединения, последнему порядочному человеку в нашем начальственном клане, Ивану Александровичу Пастухову, просить для Мишки работу. Он согласился принять его на следующий день в девять утра. Но на беду Чашкин встретился в вестибюле с оператором Толей Зубрицким – когда-то все вместе работали в Свердловске, – тот увёл его к себе в общежитие. Миша обещал, что утром без четверти девять будет в приёмной Пастухова. Я понимала, что это одно из тех благих намерений, которыми вымощена дорога в ад, но повторять свердловские подвиги не стала – это было бессмысленно. На студии Миша появился в двенадцатом часу. Мне пришлось извиняться перед Пастуховым, а для Миши с работой в Минске всё было кончено. Я готова была убить Зубра, но понимала, что всех, кто встретится на Мишином пути, не убьёшь.

Вечером мы втроём снова слушали песни Круппа. Миша сидел, обхватив тёмными сучковатыми пальцами сидящую курчавую голову, я тихонько плакала: звучал живой голос Арика, которого уже нет и – невозможно представить – никогда не будет. Динка была тиха и печальна. Миша поднял кудлатую голову и, глядя невидящими глазами куда-то вдаль, вздохнул:

– Бедные мои девчонки: пришёл на три месяца сказочник – и исчез...

Посидел, подумал и вдруг хлопнул себя рукой по лбу:

– Какой я дурак! Да другие женщины за всю жизнь не знают столько счастья, сколько вы с Динкой знали за три месяца!

Потом попросил фотографии Круппа. Долго смотрел... Попросил бумагу и шариковой ручкой с чёрной пастой стал делать наброски.

Он провёл в Минске несколько дней. Долгими вечерами, за крепким чаем в любимых керамических кружках, слушал мои и Динкины рассказы об Арике, потом, обложившись его фотографиями, начинал рисовать. Но вдруг отодвигал рисунок и, показывая на разные снимки, спрашивал, какая улыбка для него типична, а какая нет, какое выражение лица, поворот головы, взгляд... И рисовал, ничего не видя вокруг. Я знала Мишу давно, но таким... таким никогда не видела. Это была одержимость. Он ложился спать утром, когда Дина вставала, чтобы ехать в школу. На столе оставались рисунки. Сначала это были просто копии с фотографий, но чем дальше, тем больше он от них уходил. Последние рисунки – это уже почти мистика: когда я увидела их, проснувшись утром, мне стало страшно.

Это был настоящий Крупп, какого не было даже на фотографиях.

– Мишка! Ты же его никогда не видел...

– Я слушал его песни и ваши рассказы о нём.

Чашкин уехал в Москву, захватив несколько фотографий Арика, чтобы продолжать его рисовать.

Я забыла сказать, что он не был художником. И больше того – он никогда не рисовал. Просто Миша Чашкин был талантливым человеком.

Я была в простое, когда меня вызвал главный редактор объединения Гродников и предложил двухчастёвый

документальный фильм о... комсомольском билете. Мне стало просто нехорошо. Я попросила – поскольку тема очень серьёзна – разрешения подумать. Думала об одном – что это? Хитроумный манёвр моего шефа, который таким способом хочет показать мне, что бывают ситуации, в которых человек вынужден поступать не так, как ему хочется? Обычно темы для фильмов режиссёрам предлагает художественный руководитель, а тут – главный редактор... С чего бы это? Конечно, я понимала: согласись я на этот фильм и сделай его – о профессиональном будущем можно не беспокоиться, всё пойдёт, как по маслу. Можно добросовестно подобрать материал по теме: от Николая Островского до строителей БАМа и даже всё это интересно сварганить... Но мне явно мешает жизненный опыт. В Свердловске народные дружинники, естественно комсомольцы, на ночных дежурствах развлекались тем, что со всего размаха бросали запозднивших мальчишек на тележки для продажи газированной воды, отбивая у них почки. А во ВГИКе я знала комсомольского вожака, Юсупа Даниялова – папа у него был «первый» человек в Дагестане, а брат в каком-то ЦК в Москве, – в подковёрной борьбе он мог дать фору моему любимому шефу. Благодаря этим качествам он и стал комсомольским вожаком... Может быть, нужен фильм в защиту комсомольского билета от таких?.. Мне стало смешно.

Конечно, я отказалась: сказала Гродникову, что, по моим понятиям, это должен быть фильм цельный, романтический, эмоциональный, а мне несколько мешает мой жизненный опыт – лучше поручить эту тему кому-нибудь из юных режиссёров. Сказала ведь почти правду. Гродников смотрел на меня во все свои удивленные глаза... Думаю, что в его практике такого не бывало: человек находится в простое и отказывается от работы – да ещё какой!.. Я представила физиономию моего шефа,

когда он узнает о финале своего эксперимента – дорогого стоило увидеть его в этот момент.

Ранней весной Дина пошла в секцию по спортивному ориентированию. Арик ещё осенью говорил ей: «Вот наступит весна, мы возьмём с тобой компас и займёмся серьёзным делом». Серьёзным делом ей пришлось заняться без Арика, но с замечательным тренером Геллером. Она неузнаваемо изменилась. Кончилась депрессия. С соревнований и со сборов приезжала обновлённая и счастливая – смотреть на неё было одно удовольствие. Ляля, приходя ко мне, любовалась Динкой и говорила, что жизнь у неё просто хрустит на зубах. За какой-то месяц она стала чемпионкой города среди юниоров. Вот бы Арик был доволен...

Как ни странно, но нашу заявку на сценарий о туризме приняли. Я больше не верила в случайности, думала что это очередной манёвр из серии кнута и пряника. Сценарий был написан, но на худсовете разгорелись баталии. Когорта старых режиссёров стояла грудью: «Не пущать!» Сценарий не приняли. Мой шеф, проходя мимо, тихонько бросил мне совет: «Идите к Белявскому». Наносить визиты высокому начальству до сих пор мне не приходилось. Записалась на приём, взяла папку с фотографиями и явилась в назначенный час в огромный кабинет. Спросила разрешения выложить фильм на длинном столе и, когда всё было готово, попросила министра подойти. Я рассказала ему фильм кадр за кадром, читая наизусть стихи крупновских песен, описывая живые эпизоды, которые предстоит снять. Рассказывая, конечно, разволновалась. Моё состояние передалось ему – сегодня таких министров уже нет! – и он не скрывал, что мой рассказ не оставил его равнодушным. Потом футболил секретаршу, которая пыталась ему о ком-то доложить, и

расспрашивал меня об Арике, о походе, о лавинах в Саянах – как будто я что-то об этом знала, кроме того, что дала мне недавняя трагедия. И в конце концов сказал:

– Да мы же будем иметь замечательный фильм!

– Я в этом уверена.

– Как же ваш худсовет мог отказаться от этого?

– Они сочли, что я лично заинтересована...

– Так это же замечательно! Если фильм делается равнодушным человеком, то он взволнует и зрителя. Это ведь прекрасно, когда художник может освободиться от боли, создав произведение искусства!

Сейчас я вспоминаю этот диалог, как сказку...

Машина закрутилась, мне дали директора, и фильм был запущен в подготовительный период. Это произошло уже весной 1972 года. Я успела съездить в Ленинград и в Одессу, скопировать все имеющиеся там оригинальные записи Круппа, собрать фотографии. Написала режиссёрский сценарий. Оставалось несколько дней до запуска в съёмочный период – и тут случилась беда с Белявским. Кто-то где-то «сгорел» и потащил его за собой.

Как мне потом рассказали, в лацкане костюма, подаренного ему на день рождения, была зашита подмётная записочка. Подарок квалифицировали как взятку, и Белявский слетел с министерского кресла. Насколько я понимаю теперь, он стал жертвой своей доверчивости и чьих-то интриг.

На судьбе моего фильма это отразилось немедленно. В последний день подготовительного периода спешно собрали худсовет, и корифей нашей документальной режиссуры Владимир Павлович Цеслюк воскликнул:

– Товарищи! Разве вы не понимаете, что происходит? Ведь она же хочет сделать памятник своему мужу за государственный счёт!

Фильм закрыли, а я загремела на целый месяц в неврологическое отделение Института имени Бехтерева.

Связывая свою судьбу с Ариком, я не собиралась менять фамилию, потому что любила отца, которого знала лишь по рассказам. Придуманное порой любят сильнее, чем реальное. В память об отце я хотела носить его фамилию. Но когда Круппа не стало, всё изменилось. Теперь у меня было жгучее желание взять фамилию Арика. Но как? Юридического права не было. Пришла в горисполком и написала абсолютно честное заявление: погиб муж, с которым не успели оформить брак, и в память о нём хочу носить его фамилию. В те годы многие правдами и неправдами пытались избавиться от еврейской фамилии, а я хотела вполне лояльную армянскую фамилию сменить на еврейскую. Через пару месяцев получила отказ. Снова явилась к инспектору, рассказала свою историю и попросила научить, как нужно написать, чтобы не отказали.

– Ну что тут учить? Правило одно: перемене подлежат только труднопроизносимые и трудночитимые фамилии.

– Да конечно же! У меня и есть такая фамилия.

Вспомнила, как на почтамте в Ленинграде я целую неделю не могла получить письмо от Арика из-за одной лишней буквы. А как мою фамилию искажали в телеграммах! Вспомнились все курьёзные случаи, когда её коверкали и в шутку, и всерьёз. Преподаватель по монтажу во ВГИКе, знакомясь с нашей группой на первом занятии, прочёл мою фамилию, как японскую. Изменив лишь ударение и превратив безударное «о» в ударное «а», он громогласно, на всю монтажную, прочёл: «МнацаканАва!» Весь курс покатился со-смеху, а я не сразу поняла, что это относится ко мне.

– Пишите, – сказала мне инспектор и дала белый лист бумаги. Но какая же это была чёрная работа! На трёх

страницах я доказывала, что моя любимая фамилия мешает жить и работать не только мне, но и всему славному коллективу моей съёмочной группы, когда в командировках приходится получать телеграммы «до востребования», отправленные на моё имя.

Не представляю, что бы я делала, если б мне снова отказали... Но тут машина сработала чётко: формулировка была выбрана правильно. Правда, я ждала год.

Когда на студии был вывешен приказ об изменении моей фамилии, не обошлось без злословия. Кто-то сказал: «Она это сделала затем, чтобы легче было уехать в Израиль». Наверное, запомнили мою очень неинтеллигентную реакцию на антисемитские анекдоты: «Ещё раз услышу – по роже дам». Конечно, я понимала: мне легко так говорить, потому что во мне нет ни капли еврейской крови. Другого всегда легче защищать, чем себя. Но это не помешало кому-то прийти к «научному» выводу: «она ещё хуже – адская смесь армянской и еврейской крови». На явный антисемитизм можно хоть соответственно прореагировать, но самая подлая форма – скрытый антисемитизм. Чуланов, например, говорил: «Вот Крупп – хороший человек, хоть и еврей». Ну за что здесь дашь по роже?

Студенты Политехнического института, как и намеревались, давно сделали проект скромного мемориального комплекса для установки на Чижовском кладбище, где были похоронены наши мальчики. Оказалось, что получить разрешение на его установку практически невозможно, потому что мемориалы на кладбищах запрещены нашими законами. И пока родственники погибших пытались пробить глухую стену, «лесные» друзья Арика решили эту проблему по-своему. За Столбцами, неподалёку от деревни Новый Свержень, на высоком берегу Немана, есть холм, поросший соснами, и

на его вершине – большая круглая поляна. Это место очень любил Арик. Здесь ребята и решили поставить памятник своему другу. Им хотелось, чтобы памятник стоял в таком месте, где они могли бы собираться и праздновать дни его рождения, как это бывало и до семьдесят первого года. Тут они сидели с живым Круппом у костра, слушали его песни, и сам воздух здесь был напоен воспоминаниями.

Километрах в двухстах отсюда в противоположную сторону от Минска они нашли валун около трёх метров высотой. Скинулись с очередной зарплаты, наняли автокран и платформу и перевезли валун на холм на берегу Немана.

Ребята работали несколько суббот и воскресений кряду. Среди них были инженеры–строители, и всё делалось по правилам строительного искусства: котлован, булыжник, раствор, накат брёвен, снова булыжник – и так доверху. Одним словом, делалось всерьёз и надолго.

Открытие состоялось накануне дня рождения Арика, 28 октября 1972 года. Надо же случиться такому совпадению: 30 октября – ещё и день рождения комсомола. В Минске по этому поводу в воскресные дни устраивался грандиозный субботник. Из горкома комсомола обзванивали комсомольские комитеты всех институтов, заводов и прочих организаций. И в каком–то академическом институте человек, взявший трубку, не подумав, брякнул:

- Наши все едут на Неман, на открытие памятника.
- Какого памятника?
- Арику Круппу».

И что тут началось! Немедленно позвонили Чуланову. Тот стал обзванивать всех, кого мог, с просьбой никуда не ездить. Он пришёл в пятницу на вокзал к электричке, ходил по перрону между группами туристов и упрашивал всех не ехать, намекал, что туда нагрянет КГБ... Ребята его очень далеко послали, и он ушёл, опустив голову, как побитая собака.

Событие на Немане не афишировалось. Присутствовали только минские друзья да несколько ребят из Смоленска – немногим больше ста человек.

...Камень – на бетонном постаменте. На нём – доска из нержавеющей стали с гравировкой:

*А всё–таки, всё–таки хочется петь,
даже когда в сердце песням нет
места...*

*Только б не сдаться и только б успеть
Спеть свою самую главную песню.*

Арик Крупп

Вокруг – свечи, обернутые снаружи алым станиолом, – и алые блики падают на памятник. Бетонные вазы переполнены хризантемами. Перед постаментом – небольшой костёр, а под фотографией, укреплённой на камне, – подсвечник из фольги. В нём до утра горела свеча, и всю ночь у костра пели песни Круппа и любимые им песни других авторов. А наутро в воскресенье протянули верёвку между двумя соснами, повесили на неё несколько спальников и устроили настоящий вернисаж из фотографий Круппа.

Это место туристы так и прозвали – «Арькин камень», и каждую неделю на выходные дни сюда приходили туристские группы. Здесь всегда было чисто и всегда стояли цветы. Пионеры из соседнего села проводили здесь свои слёты. Камень никому не мешал. Но летом 1973 года ребята с удивлением увидели в металлической доске со стихами восемь пулевых прострелов. Подумали – хулиганы. Сменили плиту. К осени, ко дню рожденья Круппа, поставили новую, точно такую же. А ещё через полтора года, летом семьдесят пятого, Минск облетела весть: нет больше Камня. Очередная группа, приехавшая сюда на выходные, увидела на его месте большую яму и

вокруг – серые осколки. Местные жители рассказали, что приехал наряд милиции, заложили динамит, оцепили горку, рванули, а потом – бульдозером. Осколки, все до единого, очень скоро разобрали на сувениры.

Позже выяснилось, что прострелил камень некий Юрий, внучатный племянник белорусского писателя Якуба Коласа, работавший инструктором на ближайшей турбазе. Родовое имение Коласа находилось неподалёку, однако отнюдь не по соседству с Камнем – совсем в другой стороне от деревни Новый Свержень. Потомок Якуба Коласа возмущался тем, что на родной белорусской земле, рядом со священным местом, поставлен памятник «какому-то сионисту с его сионистскими песнями»: «До чего это надо успеть тебе свою главную песню исполнить? Уж не до того ли, как ты сбежишь в Израиль?» Видимо, на большее интеллекта у потомка не хватало. Да ещё и пионерские сборы у памятника «сионисту». Чем приглянулся Камень детишкам из соседней школы, неизвестно, но уж этого честолюбивые потомки белорусского писателя не простили. Все они были вхожи в ЦК КП Белоруссии, и добиться уничтожения Камня им труда не составило.

Осенью семьдесят второго, не имея работы на студии и добывая хлеб насущный шитьём, зашившаяся буквально, я забыла о моих недоброжелателях и их сплетнях. Но ещё дважды они напомнили о себе. Зашла ко мне в гости Мальвина, с которой я жила в одной комнате в общежитии, и рассказала, что её коллега (тесен мир!) – подруга журналистки Светланы Климкович, и та много ей рассказывала о Круппе, а однажды, когда разговор коснулся его женитьбы, она сказала: «Надя? Ну что такое Надя? Просто аферистка! Вся её жизнь в Минске – это цепь афер. Первая была в том, что она женила на себе Круппа. Вторая – в том, что выдала свою подругу замуж за

Чуланова, чтобы закрепиться в Минске. Третья – она присвоила крупную сумму денег, которую мы собрали Арику на квартиру. И наконец четвёртая – она сумела поменять свою фамилию на фамилию Круппа, несмотря на то что у нас это так трудно сделать!» Вот тут Мальвина сообразила спросить: «А что она выгадала от перемены своей армянской фамилии на еврейскую?» Вопрос, естественно, остался без ответа.

Меня особенно потрясла третья «афёра» – ведь никто из журналистов ни рубля не дал, когда Арик обратился к ним с просьбой. Только теперь я поняла, почему один из «лесных» друзей Арика, Дима Песин, так долго и внимательно разглядывал в саянской записной книжке Круппа первую страничку со списком долгов: он искал там фамилии журналистов. История с третьей «афёрой» открыла мне глаза. До сих пор я думала, что, распуская про меня всякую чушь, они просто заблуждаются или принимают желаемое за действительное, но теперь я вынуждена была понять, что это были сознательно придуманные сплетни: ведь Света Климкович знала, что никаких денег они не собирали. А что касается перемены фамилии, то, как оказалось, там были и другие мнения. Через несколько лет я познакомилась с юной девочкой Юлей Чернявской – она писала хорошие песни и стихи и оказалась дочерью той самой замечательной Саши, которая мне так понравилась на одной из вечеринок у журналистов, когда я сидела на ковре у ног Круппа и мы втроём о чём-то интересно разговаривали. Юля мне сказала: «Мама всегда говорила: «Надя имеет полное моральное право взять фамилию Арика»».

Сын моей хозяйки возвратился из Вьетнама, и семья меняла своё жильё на новое, а нас с Диной ждал очередной переезд. К этому времени я успела вернуть друзьям все долги за кооператив. Но до того как мы обрели

свою постоянную квартиру, нам суждено было сменить ещё две временных. Сначала мы жили у цыган – небольшая комната на втором этаже деревянного дома, в холодных сенях умывальник, в котором вода промерзала в морозы до дна. Эта зима была самой тяжёлой. Но хуже всего то, что у меня разладились отношения с дочерью. Она напоминала мне зеркало: какой стороной повернётся в следующую минуту, я не знала. И её постоянные повороты чёрной стороной приводили меня в отчаянье. Она грубила без всякого видимого повода. То ли возраст такой, то ли были тайные, глубоко запрятанные и, может быть, не осознанные ею самой причины. Порой мне казалось, что она ненавидит меня за то, что я жива, а Арика нет. Что ж, в этом случае я с ней была солидарна. От меня никому не было никакой пользы, а Арик бы сделал счастливыми столько людей...

Ляля говорила, что отношения с дочерью зависят от меня и я могу всё изменить.

– Но она грубит мне, и я ничего с этим не могу поделать.

– Можете. Не отвечайте ей тем же.

– Всё равно она будет грубить. Ничего не изменится.

– Так не бывает. Десять раз нагубит, а на одиннадцатый остановится.

Мне ничего не оставалось, как попробовать. В ответ на грубости дочери я стала отвечать молчанием. Дина долго ещё по инерции мне грубила, но однажды действительно остановилась. Ляля оказалась права. И на этот раз права...

Боясь потерять этот крохотный результат, я отказалась от категоричной, запретительной манеры в разговоре с дочерью. Какие бы дикие и даже опасные желания она ни высказывала, я больше не говорила ей «нет». В лучшем случае – «Ты можешь это сделать. Но я бы тебе не советовала».

Дина стала думать и чаще всего отказывалась от своих первоначальных намерений. Но однажды – желание было

слишком велико – она поступила по–своему. Разведённая хозяйская дочка ходила на танцплощадку в парк Челюскинцев и как–то пригласила Дину с собой за компанию. Дурёха не послушалась моего «не совета» и ушла с цыганской дочкой, пообещав, что это только один–единственный разочек... Через пару часов она прибежала бледная, дрожащая, всклокоченная и бросилась ко мне с воплем: «Мамочка, прости! Больше никогда, никогда, никогда...» Думаю, что её спасли тренированные ноги.

Я приготовилась к тому, что на студии меня долго будут держать на голодном пайке, но мой визирь, как видно, сжалился и бросил мне кость: «Берите заказной фильм. У вас это хорошо получается». И с какой издевательской улыбкой он это сказал! Теперь, с отсечённой головой, я не представляла для него никакой опасности.

Конечно, я взяла. Производство хвойно–витаминной муки – не самая плохая тема. Тем более что там целый эпизод нужно было снимать в Латвии, а это – возможность проведать родителей Арика. Я навещала их не часто, но регулярно. На этот раз мы договорились с моей Диной приехать к ним вместе: она была на соревнованиях в Цесисе, а я ездила в Ригу посмотреть съёмочный объект. Так и сделали. И второй раз мне удалось навестить старичков в свой выходной день, во время съёмок.

Контакт с Волчком я сохранила не только потому, что об этом просил Сарахатунов – мне самой была интересна его судьба. И в феврале 1972 года я получила от Волчка письмо, из которого узнала, что его назначили председателем в колхоз «Партизанский край», в самую глубинку Полесья. Ещё несколько лет назад это было крепкое хозяйство, руководил им легендарный партизанский вожак Василий Корж. Но за пять лет, прошедших после смерти Коржа, дела пришли в упадок,

колхоз задолжал государству, люди обнищали. Волчок писал:

...Ждут от меня чуда. Я испытал уже первую радость человеческого доверия, даже уважения. И потому трудно мне сейчас. Как не оплошать, как оправдать доверие людей? Мне никак нельзя оплошать, нельзя сорваться, нельзя главное, большое разменять на мелочи.

Мне тогда же захотелось поехать в «Партизанский край», увидеть всё самой, написать сценарий и снять фильм «Человек на своём месте». Для этого достаточно было показать один день председателя. Но выбраться в Полесье удалось только через год.

Зато за этот год я сосватала в «Партизанский край» Мишу Чашкина. Дело было так. В один из приездов Волчка в Минск я дала ему почитать «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Васильева – повесть только что вышла в «Роман–газете». Он отозвался восторженно и сказал, что главный герой повести, неудачник Егор – ценнейший человек. Если б у него все были такие, они бы коммунизм построили у себя в колхозе.

– Много таких не бывает – штучный товар, – но одного могу подарить.

И я рассказала ему про Чашкина.

– Беру! Давай его мне.

Написала Чашкину, который всё ещё сидел без работы. Терять ему было нечего – приехал. Проезжая через Минск, он вернул мне фотографии Арика и показал фанерку, примерно сорок на шестьдесят, писанную маслом: на фоне синих снежных вершин – красная палатка, и перед ней обнажённый бронзовый торс лежащего Круппа с дымящейся сигаретой. Трагический излом бровей, немой вопрос и вековая семитская грусть в глазах. Правый угол внизу не закрашен – по замыслу художника, там

должна лежать гитара. Но гитары Миша в Москве не нашёл и намеревался сделать это в один из приездов у меня дома. Мне же так понравилась голая фактура пожелтевшей от времени фанеры, что я попросила его оставить всё как есть. В незаконченности картины была особая прелесть.

Через две недели получила от него небольшое торопливое письмецо:

Надюх! Когда ты предложила мне поехать в колхоз, я ничего не понял: что я буду там делать? Ты представила меня художником. Но что вообще художник может делать в колхозе, для колхоза? Мне это трудно было представить. А сейчас я могу сказать главное: никогда ещё за всю свою жизнь (а я уже пятый десяток разменял!) я не работал с таким удовольствием и с таким жаром, как сейчас. Работы невпроворот. Как успеваю, сам удивляюсь. Да и не успеваю, пожалуй. Только что сделал эскизы оформления новой центральной усадьбы, придумал для колхозников красивые ажурные заборы из реек – очень уж страшно, когда глухие, из досок; нужно оформить мемориал с братскими могилами, а тут Волчок эмблему колхоза придумал – сейчас делаю эскиз. Хочет, чтобы все колхозники для работы имели красивую удобную форму с эмблемой. Нет, ты не подумай, что разменивается на мелочи. Он, как и Чехов, считает что всё должно быть красиво. И во всём, что касается красоты, для него нет мелочей. Он говорит: «Если это некрасиво, то зачем оно?» Но главное – всё, что ему говоришь, он понимает. Вот я точно знаю, что здесь все мои замыслы смогу осуществить так, как задумывал. Да что я тебе всё это пишу! Приезжай – сама увидишь.

Пока директор заказного фильма, который я только что закончила, занимался ликвидацией бумажных дел, я взяла

на студии машину и поехала в «Партизанский край». Специально – в пятницу, чтобы всю субботу, приёмный день, просидеть в кабинете Волчка.

Деревня, где размещалась центральная усадьба колхоза, называлась Хоростово. В правлении мне сказали, что пятница – день занятий и найти Волчка можно в учебной комнате. На дверях – табличка: «Семинар по экономике». Чуть–чуть приоткрываю дверь и заглядываю в щелку. Комната набита битком. Кроме должностных лиц, много молодёжи. Волчка не видно, но слышен его голос: «Материальное вознаграждение должно точно соответствовать количеству труда – тогда оно будет действенным. И наоборот, человек должен знать: если он не сделает то, что от него требуется, он понесёт материальный урон. Поработал ты головой, принёс пользу колхозу – получи вознаграждение. И денег на это не жалко. Только такой системой оплаты мы можем разбудить творческое начало в человеке, вызвать у него интерес к работе».

Выходя из учебной комнаты, Волчок замечает в коридоре могучую фигуру – я догадываюсь по описанию в письме, что это агроном.

– Так что будем делать с пустошью в Гоцке? – обращается он к великану.

– Так вы ж сказали – под свёклу.

– Я сказал тебе – подумать. Посмотри почвенные пробы, подсчитай всё. И доложи свои соображения.

Поворачивается в другую сторону:

– Зоя, почему до сих пор не выплачены премиальные за копку картофеля?

– Оформляю, Алексей Яковлевич.

– Долго оформляешь. Человек должен получить вознаграждение за свой труд сразу, а не тогда, когда он уже забыл о нём. – Замечает агронома, который всё ещё

нерешительно стоит у выхода. – Что, Михалыч? Мы ведь всё решили.

– Да вот насчёт Гоцка. Вы ведь правильно предложили – свёклу.

– Не знаю. Ты агроном. Подсчитай, обоснуй, докажи. Тогда и будем решать.

Вечером мы с Мишей сидели в просторной кухне Волчка. В печке трещал огонь, хозяин подбрасывал поленья.

– Алексей Яковлевич, но ведь Сикорский – молодой агроном, ему, наверно, помочь надо...

– Помогал. Он грамотный человек, с дипломом, но нет у него любви к земле, к своему делу. Ему всё равно – выполнит любое моё распоряжение. А я хочу, чтоб он сам думал, предлагал свои решения. Я ведь даю ему самостоятельность – действуй, экспериментируй, предлагай. Нет, ни разу не пришёл ко мне со своим предложением, со своей идеей. Нет у человека призвания. Значит, он не на своём месте. – Подумал немного, помолчал. – Когда я был агрономом, мне мешали работать...

– Но ведь сейчас вам никто не мешает?

– Мешать–то пока не мешают. Но и понимают не все. Приезжал вот инструктор из райкома, посмотрел наши планы посевной, планы строительства. «Прожектов, – говорит, – много». А что такое «прожекты»? Без того, что он называет «прожеками», мы не сделаем скачка, который обязательно должны сделать. Вы посмотрите на наш колхоз с точки зрения государства. Передовых, так называемых показательных колхозов не так уж много. А основная масса – колохозы среднего уровня и ниже. И большую часть продукции дают именно они – колхозы, подобные нашему. Это значит, что именно эти колхозы сегодня – основной резерв государства. Ведь легче у нас поднять урожайность с семнадцати центнеров до тридцати,

чем в передовых колхозах – с тридцати до тридцати пяти. Вот и представьте себе размеры этого ещё не использованного резерва в масштабах государства.

Диктофона у меня не было, я едва успевала записывать в блокнот. Миша сидел в углу кухни за столом и что-то чертил в тетрадке.

Сейчас, почти через тридцать лет, когда я это пишу, понимаю: будь Волчок сегодня у государственного руля – всё равно где, – он бы прежде всего заботился о среднем и мелком бизнесе. Рановато он родился. Хотел построить разумное хозяйство в неразумном государстве. Но это я понимаю только теперь. Тогда же идеи Волчка зажигали меня, и я, как и он, не понимала, почему ему так трудно приходилось отстаивать очевидные вещи.

– Алексей Яковлевич, а вот ваши планы строительства... Чего там только нет! Вы считаете, всё это реально?

– Абсолютно! У нас всё обосновано и подсчитано. Ведь вы поймите: в смысле строительства у нас огромное преимущество перед более богатыми колхозами, у которых уже что-то построено, – мы ничем не связаны. Старые постройки всегда по рукам и ногам связывают – их нужно приспособлять к новому оборудованию, нужно что-то перестраивать, реконструировать, в общем, ломать. А у нас – чистая площадка. И мы можем, учтя опыт других хозяйств, выбрать самую совершенную технологию, самый современный тип оборудования, самую удобную конструкцию. Ничего не имея, мы более мобильны, и это немаловажный шанс для скачка. Если всё пойдёт, как задумано, можем оказаться впереди тех хозяйств, которые уже что-то имеют.

У Миши была отдельная комната в общежитии для холостяков. Когда я пришла к нему, он расставил несколько эскизов на подрамниках.

– Такой будет новая центральная усадьба. Всем нравится, но никто не верит, что это можно осуществить. Коля, шофёр Алексея Яковлевича, говорит: «На бумаге–то оно, Миша, всё красиво, а разве в жизни так будет?» А Волчок верит, что в жизни будет ещё лучше. Вот если б он не верил, мне было б очень трудно здесь работать.

– А с Ларисой как будет?

Мишины жена и дочка остались пока в Москве.

– К лету дадут квартиру – заберу. Я понял самое главное: всё, что я здесь делаю, нужно людям. Прости за высокие слова, но это – главное. А не то, где человек живёт – в Москве или в Хоростово.

В субботу я со своим блокнотом была в кабинете Волчка ещё до того, как он появился сам. Пришёл вместе со старушкой, которую усадил прежде, чем занял своё рабочее место.

– Совсем уже нет дров, бабушка?

– Да не... на недельку ещё хватит. Бригадир каже, принеси бумажку от председателя, и будут тебе дрова. Вот я и хочу ту бумажку у вас попросить.

– Как ваша фамилия?

– Крукович я. Мария Савелична.

Волчок делает пометки в настольном календаре.

– Хорошо, будут вам дрова, дня через три. Устраивает?

– Без бумажки?

– Без бумажки.

– Ну спасибо, сынок.

Старушка уходит, а в кабинете появляется молодой парнишка.

– Алексей Яковлевич, как насчёт электрика?

– Не нужен нам пока электрик, а где ты сейчас работаешь?

– В мастерских слесарем.

– И не хочешь? Почему?

– ммХочу электриком...

– Сколько ты зарабатываешь?

- Когда как... 30–40 рублей.
- В месяц?
- Да.
- Может, прогуливаешь?
- Да нет.
- Сколько ты получил в прошлом месяце?
 - 37 рублей.

Волчок нажимает кнопку. Входит секретарь.

– Катюша, экономиста ко мне, механика и главного инженера – как только появятся. И дайте мне точную справочку: сколько у него – Волчок кивает на парнишку, – было в прошлом месяце выходов и сколько он заработал.

Прежде чем выйти, секретарь спрашивает:

- Алексей Яковлевич, вы не забыли о моей просьбе?
- Нет, не забыл: тебе выплатят разницу, я уже выяснял.

Входит мужчина и показывает Волчку бумажку. Тот читает.

- А хранить цемент у тебя есть где?
- Есть.

Волчок подписывает бумажку.

В кабинет входит крепкий, опрятно одетый молодой парень, во всём его облике сразу угадывается недавняя солдатская выправка.

- Я насчёт работы.
- Специальность?
- Экскаваторщик. В армии получил.
- Давно демобилизовался?
- Полгода. Работал в Старобине, в СМУ.
- А почему к нам хочешь?
- Женился я. Жена у меня челонецкая.
- Так забирай жену в Старобин.
- Нет, мы уж лучше у вас останемся. Я на гусеничном могу. Трактористом.

Волчок набирает номер телефона.

– Данилыч, тебе трактористы нужны на гусеничный? Да нет, не похоже, чтоб пил. Женился человек недавно. Да, челонецкий. Ну, я пришлю. Сейчас. – Взглянул на тракториста. – Идите в первую бригаду к Фёдорову.

Парень уходит, и снова появляется секретарша с экономистом Иваном Гуком.

– Вот, – она протягивает Волчку бумажку, – двадцать четыре выхода, 37 рублей 40 копеек.

– Ваня, как же это получается: молодой здоровый парень, не прогуливает, а зарабатывает 37 рублей в месяц? Разве на эти деньги можно жить? А если он жениться захочет?

Гук пожимает плечами:

– А что я могу сделать? Расценки такие. Ведь не я их утверждал. Да ещё у них, видно, наряды не всегда есть.

– Значит, договоримся так: ты, Ваня, хорошенько посмотри расценки и подготовь свои соображения. Об остальном я буду говорить с механиком и главным инженером. Пока идите.

Парень уходит, а Гук задерживается.

– Алексей Яковлевич, нужно решать вопрос с ветеринарами.

– Что ты предлагаешь?

Гук выкладывает перед ним исписанный листок.

– Вот я разработал систему премиальных. Она позволит повысить месячный заработок ветеринаров от 70 до 120 рублей.

Волчок грустно смотрит на Гука и качает головой.

– Нет, Ваня. Если у ветеринаров низкая зарплата, нужно её повышать, а не дотягивать премиями. У премиальных другая цель. Подготовь все расчёты, поставим вопрос о повышении ветеринарам зарплаты до 120 рублей на правлении колхоза.

Гук уходит, а Волчок снимает трубку и набирает номер:

– Я прошу директора школы, если можно. Здравствуй, Сергей Алексеевич. Да, Волчок говорит. У нас есть человек, очень полезный для колхоза. Он ведёт эстетику всего нашего производства. И художник, и фотограф, и журналист – всё в одном лице. И будущий руководитель нашей любительской киностудии. Так вот ему нужно небольшое помещение для фотолаборатории – с проточной водой. Устройте ему у вас в школе какой-нибудь чулан с раковиной. А он в долгу не останется, он может быть полезен и вам. Нет-нет. Всё делает очень добросовестно.

В кабинет входит молодой парень. Вид неопрятный, выражение лица сонное, безразличное.

– Послушай-ка, Семён, ты знаешь о том, что у тебя слесарь третьего разряда на ремонте прицепной техники, имея двадцать четыре выхода в месяц, зарабатывает 37 рублей?

– Ну, знаю. Сколько выполнит нарядов, столько и зарабатывает.

– Так наряды-то ты ему даёшь. И тебе не должно быть безразлично, сколько у тебя люди зарабатывают. А то все разбегутся. У тебя каждый слесарь должен зарабатывать не меньше 120 рублей в месяц. Как это тебя, главного механика мастерских, нисколько не волнует такой вопрос? Низкий заработок – это первый сигнал неблагополучия. Это значит, у тебя низкая производительность труда. Зафиксируй рабочий день. Всё до мельчайшей мелочи. И ты сам увидишь свои ошибки. – Волчок молчит, разглядывая сидящего перед ним человека. – Да и внешний вид мне твой что-то не нравится. Были сигналы, что ты на работе часто бываешь... – щёлкает у себя под подбородком. – Это правда?

Механик виновато опускает голову.

– Ты должен быть пьян от своих планов, от своей молодости, от своего дела, от полноты жизни. Какие ты книжки читаешь? Не читаешь? А жаль. То, что сейчас

упустишь, уже никогда не возьмёшь. После планёрки загляни ко мне с инженером и принеси план работ. Я возьму под контроль постоянные бригады наладчиков и ремонтников – это наше будущее. Иди.

Звонит телефон. Волчок берёт трубку.

– Нет, машина ушла в Раковичи. С художником. Что? Перелом? Девять лет? Сейчас позвоню.

Даёт отбой и набирает другой номер.

– Анна Матвеевна? У вас там должна быть моя машина. Есть? Скажите Николаю, чтобы подъехал в Челонец: у Матусевича пацан ногу сломал – пусть отвезёт его в Старобинскую больницу.

Распахнулась дверь.

– Вызывали, Алексей Яковлевич?

– Да, вызывал. В мастерских у Литвякова неблагополучно. Слесари третьего разряда зарабатывают в месяц по 37 рублей. Ты мог бы жить на такую зарплату? Вот и они не могут. Значит, разбегутся. А что такое для нас ремонт техники – не мне тебя учить. Прошу тебя, лично займись Литвяковым. Что это за руководитель, если у него не спланирована работа на неделю? Кстати, как у тебя с покраской техники? Ты не забыл, что завтра смотр?

В конце дня я ещё успела взять короткие интервью у самых разных людей: доярки, бригадира, экономистов, водителя председательского газика, столяра.

И наконец, перед самым отъездом – последний вопрос Волчку:

– Алексей Яковлевич, вы рассчитываете закончить в этом году посевную досрочно?

Волчок засмеялся.

– Я не позволю закончить сев досрочно. И взыщу с того, кто посмеет это сделать. Что значит «досрочно»? Начало посевной точно определяется готовностью почвы, температурой воздуха и другими условиями. Чтобы засеять *качественно* определённую площадь, требуется точно

известное количество времени. И все перевыполнения плана идут только за счёт качества работы. За такие вещи наказывать надо. Если вы где-то читаете лозунг: «Закончим посевную досрочно», то знайте, что это просто несерьёзная болтовня, показуха. В сельском хозяйстве цыплят по осени считают.

Уже у самой машины, попрощавшись, Волчок вдруг сказал:

– Люди, которые живут здесь, имеют особое право на счастье. Они много вынесли. Ведь это бывший партизанский край. В сорок третьем здесь все деревни были сожжены немцами и большинство населения уничтожено. В каждой семье кто-то погиб. Вы вот говорите, что у нас слишком большие планы. Но нет, нет времени жить по маленьким. Я хочу, чтоб эти люди были счастливы сейчас, а не через двадцать лет. Через двадцать лет будет другое поколение, и оно будет решать свои проблемы.

В общем, из «Партизанского края» я возвратилась – полным-полна коробушка. Сценарий тридцатиминутного документального фильма написала быстро и, поскольку не сомневалась, что на студии его зарежут, решила отнести прямо в Комитет. Вместо Белявского председателем теперь был некий Матвеев Владимир Васильевич. Передала ему через секретаря сценарий и сказала, что за ответом зайду через две недели. Считала, что этого срока достаточно, чтобы прочесть двадцать пять страниц машинописи.

Сценарий вернул мне главный редактор при Матвееве – с очень неприятной внешностью и странной, «липкой» фамилией – Халип:

– Всё это пахнет чуждой нам идеологией...

– Какой же?

– Ну, может быть, китайской... С пустым желудком и песней – вперёд!

- Это ваше мнение или Матвеева?
- Это наше совместное мнение.

Обескураженная, я ушла, не задав больше ни одного вопроса. Приехала к Ляле, протянула ей папку, сказала о заключении комитетских экспертов и попросила прочесть:

- Неужели я схожу с ума? Здесь ведь нет ничего такого, в чём они меня обвиняют.

Ляля прочла. И устремила в меня долгий, упорный взгляд, который, казалось, говорил: «И вы хотите сказать, что вы сами ничего не понимаете?»

- Да ведь весь ваш Волчок им поперёк горла! Чего стоит только одно его заявление о досрочном севе, когда все их газеты пестрят призывами закончить сев досрочно! И сами подумайте: ведь он строит благополучие своего колхоза вопреки системе. Он во всём идёт против течения. Всё держится на его воле. Если бы он не переделывал всё по-своему, всё давно бы развалилось. Вы что, не понимаете, что написали? Здесь же ясно: колхозная система такова, что она сама по себе ничего не стимулирует. Нужны дотошность и воля Волчка, чтобы систему, которая вся направлена против человека, заставить–таки работать *на* человека. Я не знаю колхозной жизни, но думаю, что в колхозе – то же, что и везде. Если так, то Волчок там долго не продержится.

К сожалению, Ляля оказалась права: Волчок продержался пять лет.

Но тогда я не хотела сдаваться. Позвонила в газету «Советская Белоруссия» и спросила: «Не нужен ли очерк о председателе колхоза?» Сказали: «Нужен». Я написала и привезла. Очерк назывался: «Как сохранить песню?».

Зашла через три дня. Сотрудник газеты Виктор Александрович Вольский взглянул на меня с большим любопытством и спросил:

- Где вы откопали такого председателя?
- В Полесье.

– Таких председателей не бывает. Признайтесь: вы влюбились в этого человека, выдумали его и написали о том, что выдумали. В жизни таких председателей не бывает.

– Потому я о нём и написала. А вы, если не верите, поезжайте сами и проверьте.

– Поеду. На следующей неделе у нас рейд в Полесье. В связи с посевной.

Я ушла.

Пришла после рейда. Вольский, довольный, хохотал.

– Волчка вашего не было. Говорил с людьми – всё точно, как вы написали. Был в райкоме, показал ваш очерк – и вот, посмотрите... – Он протянул мне последнюю страницу – там первый секретарь райкома партии собственноручно написал: «Верно. Лисовский». – Будем печатать. Только есть одно осложнение: для газеты восемнадцать страниц – это многовато. Надо бы сократить.

– Сокращайте. У меня не получится. Но если вы найдёте, что можно выбросить, я согласна.

На следующий день:

– Не поддаётся ваш очерк сокращению – здесь всё нужно. Что же мне с вами делать? – Вольский картинно почесал в затылке. – Есть у меня приятель, Аркадий Савеличев, в журнале «Неман» работает. Он тут был у меня вчера, увидел на столе ваш материал – его привлекло название. Но я быстро убрал в ящик. «Знаю, – говорю, – ты горазд переманивать авторов!» А вот теперь понимаю, придётся мне вас к нему отправить. Для журнала такой объём – не проблема. Идите!

Аркадий Савеличев прочёл и сказал:

– У вас две встречи с Волчком. Нужно написать третью – для полного завершения композиции. Поезжайте и напишите.

Далеко ехать не пришлось: Волчок лежал в госпитале под Минском – пошаливало сердечко. Съездила и

написала. А Аркадий Савеличев, редактируя тем временем первые две встречи, разбросал кое-где «редакторские подушки», дабы кто-нибудь не истолковал превратно некоторые, как ему казалось, слишком смелые мысли. Но третью встречу ему редактировать не пришлось – она пошла в набор прямо «с колёс» и оказалась лучшей: в ней полностью был сохранён стиль и ритм.

– Послушай, как тебе удалось это напечатать? – спросила Лена Асиновская, указав на финал...

С сегодняшней точки зрения он просто смешон своей совковостью, а тогда в нём могли усмотреть диверсию против всего и всякого начальства: «...Думая обо всём этом, я поймала себя на мысли, что хотелось бы жить и работать там, в «Партизанском крае». Почему? Да просто приятно, легко, радостно жить, когда о тебе кто-то думает, заботится, когда кто-то посвящает свою жизнь тому, чтобы ты лучше и интереснее жил. А может быть, в этом и состоит назначение любого руководителя? Но, видимо, для этого нужно иметь особый талант – умение отдавать себя людям».

– Ведь это же подкоп! Как это напечатали?

– Просто у редактора не было времени даже испугаться, не то что править – сразу пошло в набор. И как видишь, никого не смутило. О чём это говорит? О том, что все мы больны самоцензурой.

На этом я, конечно, не успокоилась. Взяла номер «Немана», сделала перед началом очерка дарственную надпись Владимиру Васильевичу Матвееву: «В память о несостоявшемся фильме по причине «чуждой» нам идеологии», красиво завернула в зелёную бумагу, обвязала розовой ленточкой с бантиком и написала: «Председателю Комитета по кинематографии БССР В. В. Матвееву – лично». Пошла в Комитет и собственноручно вручила Халипу для Матвеева.

Чуть-чуть отвела душу...

Права установить мемориальный комплекс на кладбище добивались больше года. И хоть власти сопротивлялись этому, как могли, всё–таки добились. Любовь оказалась сильнее зла. Потом старший брат погибшего Вадика Казарина, Олег, потратил два года своей жизни, чтобы заказать в разных концах страны и привезти в Минск детали для памятника: семь символических, из железобетона с мраморной крошкой, палаток, обрамления для цветочных клумб из чёрного гранита и одну на все семь могил трёхметровую серую мраморную стелу, с одной стороны которой – символическое изображение скорбящей женщины, а с другой – надпись, где перечислены все девять имён и обстоятельства гибели наших ребят. Чего это ему стоило, знает только он да его старенькая мама. Это было его хождение по мукам длиной в два года... Я давно не была в Минске, но знаю, что мемориал на Чижовском кладбище стоит до сих пор.

Мы пережили зиму в цыганском доме, а ранней весной я, наконец, додумалась дать объявление о съёме квартиры в газету. Ляля предложила указать её телефон. Мне несказанно повезло: старая женщина уезжала к дочери в Москву и сдавала на год свою однокомнатную квартиру. Это оказалось рядом с Евой Львовной и совсем недалеко от нашего всё ещё строящегося дома. Так недалеко, что когда настало время туда переезжать, почти все вещи мы с Диной перетаскали в рюкзаке. Наш переезд на эту последнюю перед обретением собственного жилища квартиру казался хорошим предзнаменованием. Снова было нормальное человеческое жильё, да ещё отдельное, что в Минске с нами случилось в первый раз.

В один из своих приездов в Минск Миша Чашкин, который теперь всегда был с фотоаппаратом и снимал всё, что ему хотелось, вдруг сказал мне:

– У тебя нет ни одной фотографии с Ариком. Это несправедливо. Встань–ка вот сюда, – он показал на большой портрет «лесного» Круппа в тельняшке, – я тебя хоть так рядом с ним сфотографирую.

Снимок остался. Через много лет один из «друзей» назвал его «спекулятивным». Для меня же он – грустная реальность. Так судила судьба – только фотографии и голос... на всю оставшуюся жизнь.

Мы жили на втором этаже, и я часто с балкона смотрела, как моя девочка, моя выросшая шестнадцатилетняя дочка, уходила наискось через двор со своим мальчиком. Это была очень красивая пара. Я любовалась.

Пришло время моей доченьке получать паспорт. Вопрос о фамилии для неё не стоял: она хотела взять фамилию Арика.

– Стоит ли, Дина, брать фамилию Круппа для того, чтобы сменить её после замужества?

– Я никогда не сменю её после замужества!

– А знаешь ли ты, что такое антисемитизм? Знаешь ли ты, что осложнишь себе этим жизнь?

– Я думаю, мама, есть вещи, куда более важные, чем облегчение собственной жизни.

Вопросов у меня больше не было, и Дина получила паспорт на фамилию Арика.

И наконец, на этой последней квартире произошло событие, которое подвело черту под широкой полосой моей жизни, условно названной мной «выживанием».

В субботу, 27 апреля – Дина была на спортивных сборах – раздался звонок в дверь. На пороге стоял незнакомый круглолицый парень. За плечом – гитара в чехле, рыжеватые волосы, золотые веснушки, открытая улыбка и

зубы... такие зубы можно заработать только, если ты вырос на конфетной фабрике.

– Прошу прощения. Моя фамилия – Ланцберг. Вы меня, конечно, не знаете...

– Ну почему же? «Пора в дорогу, старина...» – ваша песня?

– Да!

Володя Ланцберг рассказал, что в 1971 году он впервые попал на Куйбышевский фестиваль памяти Валерия Грушина, который в тот год – год саянской беды – превратился фактически в фестиваль, посвящённый памяти Круппа. (А я вспомнила, что в те дни, когда ребят искали в Саянах, Арику пришло из Куйбышева приглашение в жюри – с афишей фестиваля...)

В тот год на Грушинском Ланцберг впервые узнал о Круппе, впервые услышал его песни... Он «заболел» Круппом. Стал собирать повсюду и его песни, и информацию о нём. Занимался этим три года. Был у сестры Арика Дины в Николаеве. Ко мне приехать не решался. Толкнул его на этот поступок приезд в Саратов Бориса Вахнюка. Когда Вахнюк появился у Ланцберга, тот, естественно, стал расспрашивать его об Арике, о Минске. И Вахнюк сказал: «В Минске происходит что-то непонятное: вокруг имени светлого человека – мышьяная возня. А тут ещё нашлась какая-то девица, Мнацаканова, которая объявила его своим мужем...»

– Эта фраза, – сказал Ланцберг, – была последней каплей. Я понял, что настало время ехать в Минск.

– Неужели Вахнюк так сказал?

– Да.

Я достала из ящика пакет с поздравительными открытками за последние пару лет, перебрала их и нашла одну – новогоднюю, с серебряным обрезом. Показала Ланцбергу. Там было написано:

«Надя! Ну что я Вам могу пожелать? Да восторжествует наша с Вами правота. А для этого много ли нужно? Чтобы она жила в нас, пока мы живы. И даже после этого. Здоровья Вам и хорошего солнца. И помните: даже когда оно за тучами – оно есть. До встречи. Ваш Б. Вахнюк».

– Это когда было написано?

– Новый семьдесят второй год. Мы познакомились в элекричке после одного из концертов, посвящённых памяти Круппа, – концерт был в кинотеатре где-то под Минском – в ноябре или в декабре. А на Новый год я неожиданно получила эту открытку. Она меня очень поддержала. Таких открыток было несколько, но получить это от Бори было особенно приятно. Ты что-нибудь понимаешь?

– Нет.

– Я тоже.

Должна сказать, что я не поняла этого до сих пор, хотя прошло уже тридцать лет. Видимо, в мире есть такие вещи, друг Горацио, что их никому никогда не понять.

А с Ланцбергом мы через полчаса стали друзьями.

Он спел своё посвящение Арику, и долго ещё звенело у меня в ушах:

Арьяка! Я не застал тебя дома –
Я подожду, только вернись!

Он пел мне свои песни, и они влетали в мою распахнутую душу.

Он взял с меня слово, что в июле я приеду на Грушинский фестиваль.

Вечером мы вместе сходили к дочери Евы Львовны на день рождения, и Володя Ланцберг уехал.

Закончилась страшная полоса в моей жизни, длившаяся три года. Может быть, я расплатилась сполна? Всё, что

должно остаться со мной – моя любовь и моя вина – останется со мной навсегда. Но я выжила.

У меня было такое чувство, что меня вытащили из подземелья на свет, и я поняла, что жива.

* * *

Если это исповедь, то перед Богом и в надежде на то, что Он меня простит.

Это не только исповедь.

Это покаяние.